

1989 № 12 (36)

ДЕКАБРЬ

РОДІНЬК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЫШ
ВИЛНИС БИРИНЫШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЫШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЩОВА
ЛАЙМА ЖИХАРЕ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)
Аманда Айзпуриете. Стихи (8)
Айя Валодзе. «История современной любви» (10)
Одно стихотворение. Велга Криле (16)
Жан Кокто. Стихи (18)
Славик Курицын. «Новый футбол. Краткое описание» (20)
Роберт Крили. Стихи (22)
Лев Гудков, Борис Дубин. «Параллельные литературы» (24)

КУЛЬТУРА

Важнейшие события 1939 года (32)
Ольга Свиблова. «О Владимире Янкилевском» (34)
Михаил Кольцов. «Красный китеж. Троцкий» (38)
Майя Табака. Фрагмент «Цыганской ночи» (40)
Никита Алексеев. «Посередине восьмидесятых» (43)

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрис Боярс. «Латвийское золото» (52)
Иварс Годманис. «Задачи НФЛ на пути парламентарной борьбы» (56)
Глеб Анищенко. «Нужен ли «Нюрнбергский процесс» в Москве?» (59)
Лариса Лисюткина. «Мадам Тюссо и товарищ Крупская» (62)
Петр Вайль, Александр Генис. «Сказки о Германии» (65)

ЛИТЕРАТУРА

Татьяна Щербина. Стихи (70)
Борис Юхананов. «Полночный монолог» (72)
Сергей Тимофеев. Стихи (74)
Андрей Левкин. «Лента с дырками, для шарманки» (75)
Содержание журнала за 1989 год (79)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС СМ. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Сдано в набор 9.10.89. Подписано в печать 22.11.89. ЯТ 00173. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отт., 14,3 уч.-изд. л. Тираж 147 000 (на латышском языке 101 000, на русском языке 46 000). Номер заказа 1715. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. АБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225634; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

АЙВАРС ТАРВИДС

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ



Арнольд выругался и стал проталкиваться сквозь гудящую толпу, окружившую лежащего на кушетке больного. Это был мужчина в смокинге и лаковых туфлях. Из кармана выглядывало стекло пенсне, лицо казалось заgrimированным, а козлиная бородка приклеенной. Из театра, он вдруг вспомнил слова перепуганного коллеги. Хотя смеяться, конечно, легко. Если в машине находится больной, то покойника клиника не примет, тащись тогда в морг, где ждут муки многочасовых формальностей, просьб, объяснений, необходимость клянчить, торчать в очереди как у театральной кассы, когда на улицах расклеены яркие афиши и на гастроли приехал столичный академический, что ни имя, то знаменитость, народные артисты, заслуженные лауреаты сталинских и всех последующих премий. Чтобы почувствовать флюиды их таланта, стоит два дня проторчать в очереди, последнюю ночь пить чай из термоса под запертой дверью кассы, кутаться в шерстяную одежду и с ужасом ожидать утра, когда к открывшемуся окошечку словно орда нагрянут те, с удостоверениями и привилегиями, ради которых на фронтах последней отечественной войны, в пар-

тизанских отрядах и подполье проливалась их кровь. Наконец счастливицы с драгоценными бумажками билетов будут торжествовать, сидеть в парикмахерских, завязывать галстук, чтобы в теплоте зала ждать открытия занавеса и видеть наяву своих любимцев. А теперь один из идолов вместо банкета попал в больницу. Конечно, Арнольд узнал его. Вячеслав Сафронов. Московский премьер. Кинозвезда. С третьего этажа прыгает без каскадера. Кроме того, исполнитель веселых куплетов на телевидении. Сказочный принц, которому школьницы шлют вагоны писем, а правительство, надо полагать, презентовало орден. Для Звезды Героя актер еще слишком зелен. Пятидесяти не будет. Да, ситуация хреновая, это точно. Арнольд проклинал дежурство, которое ему удружили на праздники как новенькому. Готово, западня захлопнулась.

Умрет лицедей, и до конца дней люди, всеведущие люди будут тыкать пальцем в глаза. Не втолкуешь, что у больного была неизлечимая опухоль, скрытая форма, умер, не приходя в сознание. В лучшем случае вежливо выслушают, кивнут головой и останутся при убеждении, что бестолковый лекарь, мясник из маленькой грязной больницы в провинциальном городе, не спас, кто знает, может, даже сам загнал в гроб своими корявыми, неумелыми руками.

Продолжение. Нач. в № 8, 1989

А маленький консилиум с хмурыми и любопытными лицами окружил страждущего. Еще только шляпы на головы, и, будьте любезны, можно позировать для картин. Рембрандта со вскрытым трупом. Арнольд увидел, что жилет и рубашка лежащего расстегнуты, а рукав подвернут. Видно, «скорая» стимулировала сердечную деятельность.

— Из-за чего паника? В мое дежурство не умирают, — громко сказал Арнольд.

— Наш второй хирург! — представила Арнольда штатским дежурным терапевт доктор Бите, дама столь упитанная, что иногда, при резком перепаде атмосферного давления, она одна выпивала чуть ли не все запасы сердечных капель отделения.

— Добрый вечер, — Арнольд слегка поклонился в сторону главных больничников — женщины с обгоревшим на солнце лицом и седоватого мужчины в дорогом костюме. Выражение их глаз свидетельствовало, что образ спасителя в представлениях москвичей должен иметь иное обличье, наверное, представительного знаменитого профессора из кремлевской больницы, посвятившего свою жизнь врача обеспечению бессмертия правительства.

Арнольд уже держал горячую руку актера и чувствовал, как лихорадочно, отчаянно торопится его сердце. Пульс под его пальцами бился еле заметно, можно подумывать, что Арнольд щупает руку через рукав ватника. Стрелка манометра тоже показывала критически низкое давление. Недаром больной, несмотря на толстый слой грима, казался серым и осунувшимся.

— Так что? . . . — Арнольд смотрел на коллегу.

— Острая боль в животе. После которой наступила . . .

— . . . потеря сознания, — закончил Арнольд. — Помогите!

Его руки уже освобождали тело больного. Костюм, кажется, был почти новым, даже петли не разносились. Как-то странно — в шитой по моде начала века одежде наткнуться на фээргешную молнию.

— Кто такие? — расспрашивал Арнольд, откладывая в сторону галстук.

— Эта, с серьгами, жена, а этот товарищ . . . это руководитель театра.

— Ясно, — ответил Арнольд, усмехнулся над паузой — словечко «директор» все ж таки интернационально, и обратился к москвичам:

— Как это случилось, товарищи?

— Как второй раз закрыли занавес, так и свалился. Сказал, жуткая боль, словно финкой ударили.

— Что давали?

— «Дядю Ваню».

— Здесь больно? — Арнольд показал на живот больного.

— Да, доктор . . .

— Рвота, рвота была?

— Когда «скорую» ждали . . .

— С кровью?

— Да, доктор . . .

— Язвой не страдал? — тут Арнольд обратился к жене.

— Как все . . . Таблетки глотал, лечиться ему советовали. Санитарий предлагали. Он неважно себя чувствовал . . . О, господи! . . .

— Сестричка, быстро возьмите кровь. Выясните группу и готовьте . . . два раза по пятьсот миллилитров, — Арнольд повернулся к толпе: — И не стойте как истуканы. Здесь не встреча мастеров сцены с народом. Товарищ милиционер, помогите освободить приемный покой, ей-богу, сорождинскую ярмарку тут устроили, да и вы, уважаемые, подождите в коридоре. Через пять минут я к вам выйду.

Самое удивительное, милиционер-азербайджанец действительно спохватился и стряхнул южную медлительность, словно почувствовав командира, развел волосатые руки и произнес обычное «проходите, граждане, проходите», а любопытные и родственники потянулись к двери, как подгоняемые пастухом бараны в его родной Ленкорани. Арнольд смотрел на своих коллег, зрелище было жалкое, казалось, что они в этот момент скорее всего бросились

бы звонить в «скорую» или вызывать санитарную авиацию.

— Где Миша? — спросил Арнольд, когда двери наконец закрылись.

Замешательство. Полные недоумения взгляды. Умирающий на столе:

— Опять с какой-то бабой путается! — Арнольд уже стал ругаться. — Юрка, чтобы через пять минут этот жилеток был тут! Мы повкалываем в праздник, ух как повкалываем! . . .

— Ясно, шеф! — Обдав всех запахом настойки, Юрка выскокил из отделения.

— Коллега! — обратился хирург Салиньш, за спиной величаемый Сутулым.

— На стол! У господина лицедея прободение язвы. Это даже знахарю ясно.

— Но здесь же не сельская амбулатория! — Сутулый был готов к бунту. Смелость ему придавали разница в возрасте и податливая латышская порода, а врожденная деревенская робость, мысли о жене, троих детях и невыплаченной кооперативной квартире приумножали ее. Этот Салиньш, верящий газетам и людям, казался правоверным латышским ремесленником, поистине подходящим к запланированным грыжам, в кризисных ситуациях он смотрел в рот начальству, всегда был готов дежурить в красные дни, голосовать на собраниях и радоваться почетным грамотам. — У тебя, мальчишка, еще молоко на губах не обсохло!

— Зато штаны сухие! . . . Перитонит захотел? В мое дежурство не умирают, ясно! — Арнольд кричал в ответ. Он чувствовал прилив, эту огромную, могучую волну, которая оторвет от вязкого прибрежного песка, понесет через отмели к насыпи камней, только вперед, только вперед, навстречу вечной обманчивой полоске горизонта. Этого несчастного с полной крови полостью живота хранил господь, потому что рядом он, Арнольд, у которого достаточно умения, чтобы сегодня ночью посмеяться над самой каменной, которому хватит решительности сделать выбор, осмелиться соизмерить свое искусство с пьянящей славой умирающего.

— Профессор Бокумс уехал в деревню праздновать Лиго! — выходя из соседней комнаты, сообщила скорбную весть доктор Бите. — Вернется в понедельник.

— А доцент Янсонс? — с последней надеждой спросил Сутулый.

Дочь подошла к телефону. Сказала, папаша сегодня перепробовал водку и деревенское пиво . . .

— Черт побери, — прошипел Салиньш.

— Может быть, позвонить в госпиталь или в «спецху»?

— Сам министр и его тесть Канеп и Пельше сейчас не помогут. Спасти сможем только мы! — сказал Арнольд, проверяя пульс. — Салиньш, ты будешь ассистентом! Сестрички, готовим больного к операции! И попрошу в темпе, тут вам не новгородское вече, а имени генерала больница «скорой помощи»!

— Вот черт! Доигрался . . . — это анестезиолог Миша. Маленький, но мускулистый, словно борец, он стоял в сторонке и глазами ощупывал черты лежавшего без сознания человека.

— Миша, только на тебя можно положиться в этом бардаке, — тихо сказал Арнольд, когда подталкиваемая сестричками каталка вырулила за стеклянную дверь.

— Что?

— Язва желудка . . .

— Да . . . Опять один латыш хочет выбиться в начальники, — лукаво улыбаясь, Миша ткнул пальцем Арнольду в грудь. — Театру же придется отменить спектакли, а я тоже билет достал.

— У меня нет альтернативы. Я должен его вытащить. Так вот, Миша, Микелис, Майкл, Микаэле, Мигуэль! . . .

— Послушай, Арнольд! Если это опухоль, если . . .

— Намек понял . . . Ты о наркозе думай. Чтобы железно, как у стоматолога.

— Родственники должны дать согласие! — глаза у Салиньша засверкали, как у грибника, счастливо наконец выбравшегося со своей корзиной из чащи на дорогу.

— Вы прекрасно знаете, что в экстренных случаях это необязательно... С родственниками я сейчас поговорю, — холодно отрезал Арнольд, хотя и понимал прекрасно, что опасения Салиньша отнюдь не беспочвенны. Строптивость, глупость выльются в сцену, поощряемая соблазнительными, супруга заупрямится, понадеется на чудо или на профессора и увезет домой балтийский загар и цинковый гроб. Но пока муж еще жив, раздет, и сестра бритвой снимает с его подбрюшья рыжий, густой волос.

Группка театральных деятелей напряженно курила у жестяного мусорника в конце коридора. В воздухе ощущался аромат ментоловых сигарет и дорогих духов, коньячного перегара. Арнольд смотрел на лица, большинство из которых так часто мелькали на голубых экранах, и, ощупав карманы, вытащил курево. Навстречу потянулись руки с зажженными зажигалками.

— *Что, доктор?* — выдавил директор театра.

— *Положение хуже губернаторского,* — Арнольд говорил тихо, как в склепе, и обратился к жене актера, в пальцах которой дрожала длинная дамская сигарета. — *Прошу вас на пару слов!* — Они присели на дерматиновый диванчик под мясистыми листьями фикуса. Слезы не повредили макияз женщины, а длинные, наманикюренные ногти казались как раз подходящими, чтобы выцарапать глаза неуклюжему доктору.

— *Значит, так,* — начал Арнольд и, вкратце проинформировав о диагнозе, сообщил, что больного уже готовят к операции. Это — единственный выход. — *Единственный шанс.*

Женщина сразу сникла, неподвижность взгляда рассыпалась, как хрустальные осколки, щеки намокли, сухопарое тело задрожало, как в лихорадке, словно у маленькой девочки во время приступа малярии. Она несвязно говорила, что только что вызван московский специалист, он единственная надежда, друг семьи, работает в институте, надо подождать, до Риги час лету, возможно ведь, ошибка, операции так ужасны, а у мужа иногда барахлит сердце, что она одна станет делать, ребенку нужен отец...

Арнольд целую минуту терпеливо объяснял, что значит прободение язвы желудка. Все содержимое этого мешка пищи вываливается в брюшную полость, сердце работает из последних сил, из раны примешивается кровь, а человеку грозит потеря крови, еще хуже сепсис, когда начнутся процессы гниения, став необратимыми, они перекиннутся на здоровые органы, и тогда ничто не может спасти, к сожалению, господь на этот раз гораздо ближе к ее мужу, чем Москва ко всеми достоинствами столичных больниц, и ничего не остается, придется довериться провинциальному лекарю.

— *Но вы же такой молодой...* — робко возразила женщина.

— *Генералы должны быть молодыми.* — Арнольд старался ободряюще улыбаться и просил женщину сохранять спокойствие, он сделает все, одним словом, не допустит, чтобы ее супруг заслужил почетную судьбу Мольера — смерть на подмостках сцены.

Слезы все еще орошали гирлянды роз на батисте носового платка, а Арнольд уже встал со словами, что пора переодеваться и мыть руки. Женщина согласно кивала головой и всхлипывала. Несчастье вычеркнуло в ее паспорте и сознании московскую прописку, сделало подобной тысячам других, с ужасом и надеждой глядящих в полночь на освещенные двери операционных блоков. Дальше другой мир, со стерильным воздухом, пьянящим дыханием наркоза, осторожными, тихими шагами, сталью и кровью. Место для театра, на трибунах которого жизнь и смерть играют в тотализатор, меняются декорации и века, только ставкам не суждено падать, и код страха неизбежно путешествует из поколения в поколение.

Арнольд погасил сигарету о сухой песок меж корней фикуса. У дверей его догнали несколько возбужденных мужчин. Директор, казалось, утратил профессиональную сдержанность, он жестикулировал, и значок лауреата на отвороте пиджака мелькал вслед каждому движению его руки.

— *Вы понимаете, что на себя берете? Не дай бог...*

Уже заскрипели дверные петли, и Арнольд проронил, что все «прекрасно понимает», он не камикадзе, а профессионал, выполняющий свой долг.

Молодой блондин — готовый Ромео без грима — взволнованно хватался за полы халата, спрашивал, не понадобится ли кровь, предлагался в доноры. Арнольд освободил руки и нехотя, усмехнувшись, сказал, что уж кровь он не пьет, а вот хороший коньяк с хорошими людьми — после операции в любом месте и в любое время.

В раковину лилась струя горячей воды, намыленная щетка по очереди щекотала пальцы. Арнольд знал, что в этих ладонях теперь его будущее. Руки чистые, кожа кажется нежной-нежной, как у настоящего аристократа. Сестра подает стерильные перчатки, при одевании они слегка скрипят и обтягивают руки до локтей. Арнольд разминает пальцы, убеждается, насколько удобно резина пристала к суставам и не стесняет движений. Да, на этот раз резиновые перчатки не скроют следы преступления и не спасут виноватого. Арнольд улыбается сам себе. Через марлевую маску из зеркала глядят его прищуренные глаза, а шаги в матерчатых сапогах неслышны, как у убийца.

В зале бригада на своих местах. Операционная сестра Анна вынимает из стерилизаторов инструменты и раскладывает их на салфетке. Счастье, что у Анны зимой умер внезапно муж, теперь вдове одной дома не сидится, она соглашается дежурить по праздникам, когда все люди распевают веселые песенки. Она училась еще во времена Латвии, в школе Красного Креста, педантична и внимательна до одури. Остальные две — шалуньи из Белоруссии, получив дипломы, теперь надеются обзавестись детьми и занять квартиры в Прибалтике. Стул ходит вокруг стола, словно большой, неуклюжий сторожевой солдат, то и дело отпихивает в сторону змеи кабелей, изгибающихся на плитках пола. А Миша колдует над аппаратом для наркоза. Современной эта машинка могла быть при жизни Иосифа Виссарионовича. Сейчас черное резиновое легкое аппарата опять остановилось, насос перестал гнать одурманивающий газ, и Миша деловито бьет кулаком по корпусу.

Больной лежит на столе. Сейчас это не знаменитый актер, а привязанный за руки и за ноги страдалец, маленький и беспомощный, как Иисусик на вершине Голгофы. Исчез, исчез идол поклонников, оставил взамен мужичка с костлявыми коленками и неприлично мелкими гениталиями. Лицо скрыто маской, в вены понатыкали трубки искусственного кровообращения, с суставов тянутся провода к электрокардиографу, и на экране вырисовываются кривые сердцебиений.

Арнольд берет пинцет, и, смазанный йодом, он скользит по подбрюшью. После бритья кожа становится коричневатой, как у накрашенного негра в дешевом кабаре. Сестрички — Нина и Маня — приносят зеленые простыни, укрывают голые ноги. Арнольд хватает поданный скальпель, и вот сейчас сталь проложит первую кровавую борозду на живом теле. Только мешает мощная лампа над столом, она излучает нестерпимо яркий свет, который...

... который жжет глаза аж до боли. Арнольд прищурил веки и увидел, как поезд медленно катится мимо отдаленной станции. На ответвление рельс был загнан эшелон, освещаемый с башен прожекторами. В их ослепительном свете можно было четко различить фигуры солдат и офицеров, главные линии силуэтов размещенных на платформах танков и бронетранспортеров. «Непобедимая, несокрушимая», песня просилась в уши, в дни государственных праздников ее частенько выкрикивали в Колонном зале откормленные детеныши с дипломами консерватории и погонами рядового. Надо бы сосчитать танки, было бы что продать спецслужбам, еще подумал Арнольд, представляя себе, как кулак гусеничной армады ударяет по направлению к Рейну. Облака пыли, красные звезды на трассе, простой трудовой народ преподносит цветы освободителям, все ликует, и социалистическая революция триумфирует, чтобы дерьмовые датчане и бельгийцы забыли про мясо и масло... Тем временем эшелон с главной ударной силой сухопутных войск и полевыми кухнями остался позади, а купе погрузи-

лось в темноту. После навязчивого света из окна она казалась непроглядной, как в фотолаборатории. Эта слепая темень, нежный саван для мира. Перегорают пробки, слабое пламя свечи сопротивляется ночи и разрубает черный бархат ночи на длинные куски теней. Между пальцев тлеет огонек сигареты, лежанка печи греет спину, как верный пес, а мышцы налиты усталостью. Пахнет глинтвейном, целая кастрюля глинтвейна, щиплет обгоревшее на мартовском солнце лицо, ужасная лень не позволяет встать и выйти во двор за забытыми лыжами, и болтовня янки на коротких волнах о правах человека кажется лишней и ненужной, дух неповиновения улетучился с каплями пота.

Кто знает, суждено ли еще встать на лыжи и нести вниз по крутому склону навстречу могучим елям на опушке, которые на скорости кажутся грозными, как железобетонная стена. Ясно, что вовсе не бывать больше в видземской Швейцарии, но, слава богу, есть еще на свете горы и настоящая Швейцария. Со швейцарским нейтралитетом, швейцарским сыром, швейцарскими часами, верно, и со швейцарскими банками. Разве тогда, ночью, греясь у печки, можно было представить, что наступит момент, когда на самом деле придется думать о счете в банке, настоящем банке, где доллары меняют на золото, марки на стерлинги, а на рубли смотрят широко раскрытыми глазами, как мы, неожиданно найдя в куске барахла мятую, никому не нужную десятилатовую банкноту. В ту ночь медленно догорала свечка, воткнутая в пустую длинную бутылку, а Швейцарию и впрямь упоминали, все завидовали Арманду, купившему слаломные перчатки с прокладкой «*Made in Switzerland*». После полуночи и глинтвейна разразился небольшой скандалчик, потому что Жанета отказалась спать с владельцем перчаток, полуголая девица убежала в большую комнату и орала, что Арманд — прыщавый дурак, который, напившись, пытался ее соблазнить или изнасиловать. В конце концов они поженились, свадьба была шикарная, и Жанета рожала с запланированным кесаревым сечением. Лыжи они давно забросили. Арманд вступил в партию, сидит в методическом кабинете и заботится о здоровье народа, может за деньги достать лекарства, которые можно только с визой министра выписать. Сделать диссертацию, надо полагать, ему было легче, чем вывести прыщи с лица, теперь он с честью представляет в кулуарах международных сборищ с планкой «*Dr. A. Viks, USSR*» на груди. Такие лица и людей хочется стереть из памяти так же легко, как отблеск свечи в зрачках. Плунуть на кончики пальцев, зажечь фитиль, и готово. Руки вымыть нетрудно. Как много покойников лежат глубоко-глубоко по углам подсознания, ждут часа воскрешения, чтобы, как всегда, не вовремя и не к месту память вырвала бы их из забвения и устроила бы настоящие дни поминовения умерших. И руки слабеют, не могут погасить огоньки, тлеющие в следах прошлого. Здесь недостаточно затянуть воздух в легкие, как стоя у кренделя на дне рождения, утраченное не погасишь, как слабую свечку, которой...

... которой достаточно слабого дуновения ветра. Но вечер был тихим, и бабушка зажгла четыре белые свечи одной-единственной спичкой. Огоньки робко мерцали в сумерках, отражались в сугробах и полированном мраморе. Рядом со свечками бабушка положила украшенный бессмертниками венок из мха.

— Бабуль, а почему свечи такие большие? На елочке зажигают маленькие, — спросил Арнольд.

— Большие дольше горят...

— Ага... а почему он никогда не выходит?

— Что?.. — бабушка разогнула спину, — Кто не выходит?

— Ты всегда говоришь, поедem к дедушке, у него день рождения. Поедем к дедушке, у него именины... А подарки не покупаешь. Разве цветы подарок?.. Мы к нему приходим, а он никогда не выходит.

— Арнольд, твой дедушка умер! Уже давно. Мертвые же не ходят. Ты был слишком маленький.

— Меня возили в коляске?

— Да.

— Я сейчас тоже маленький. Мне надо спать после обеда. Не понимаю, зачем идти, если никто не ждет.

— Ты разве не придешь ко мне, когда я умру?

— Приду, только ты не должна делать так, как дедушка.

— Хорошо, хорошо.

— У меня в ботинках снег.

— Не пиши. Ты ведь не маменькин сынок, — и бабушка сбивала снег с его войлочных ботинок той же связкой еловых веток, которой перед этим очищала ступеньки и надгробную плиту. Букв на ней было немного, и Арнольд все их знал.

На темном кладбище мерцало множество огоньков. Между памятниками, крестами, живыми изгородями и стволами деревьев гнались фигуры людей. Белок с пышными хвостами нигде не было видно, наверное, спали в своих гнездышках. На открытых местах дул временами резкий ветер, но метель уже стихла. Арнольд вцепился покрепче в бабушкину ладонь. Ему хотелось, чтобы на башне у ворот зазвучал колокол. Это так красиво, тяжелые шемящие звуки, медленно гудя, переваливают через вершины деревьев в сторону зоопарка. Люди останавливаются, замирают и снимают шапки.

— Не холодно?

— Не-е...

— Дай потрогаю носопыру!

Бабушкины пальцы как сосульки. Медленным шагом они выбрали на широкую аллею. Она была ровно утоптана. Навстречу группками шли люди. Арнольд не старался заглянуть в их лица — для этого пришлось бы поднять голову, подставить щеки ветру, глотать холодный ноябрьский воздух. Так что он молча топал рядом с бабушкой и видел только плотно застегнутые пальто, шубы, сумки, еловые ветки с шишками, завернутые в бумагу цветы и засунутые в варежки и перчатки руки. Они поставили свечки на могилы дяди Карлиса и тети Марты. Снова дорожки, призрачные люди и свечки, свечки.

В конце липовой аллеи возвышался памятник, его черная, мощная стена почти сливалась с ночным небом, а у подножия горело множество свечей. Заполненные людьми ступени вели к могиле. Тут огоньки, объединившись на короткий век свечи, слились в настоящее огненное море. Плавающий парафин и тепло, столь ощутимое в холодный вечер. Красный отблеск на лицах и грозном каменном лике дяди, смотревшего с высоты памятника на то, как бабушка открыла сумку, вытащила очередную свечку, зажгла от другой, покалала горячий жир на гранит и поставила ее в почетный караул прошлому.

— Бабуль, кто тут похоронен?

— Чаксте.

— Какой Чаксте?

— Государственный деятель.

— Что это такое — государственный деятель?

— Президент.

— Значит, у нас есть... государственные деятели?

— Когда не было русских, все было... Ну, пошли, а то скоро совсем стемнеет!

— Бабуль, я писать хочу! — захныкал Арнольд, когда они спустились назад в вечерние сумерки.

— Потерпи.

— Бабуль!..

Арнольда отвели куда-то в сторонку. В темноту. В сугроб. Спустили штаны. Первый снег тихо зашуршал.

— Быстренько! А то крантик застудить, — командовала бабушка, — сколько раз я тебя дома спрашивала перед дорогой, не надо ли тебе... не надо ли тебе в уборную.

Надо, ответил себе Арнольд. Было лень спускаться с лавки, искать брюки и обувь, чтобы тащиться на другой конец длинного коридора. Типичный латыш, мол, потерпим, может быть все утрясется... А тогда, в вечер свечей, пришлось послушать бабушку и сходить еще к Мейровицу. Без капризов и возражений ковылять к очередной скорбящей латышской девице, чью косу озаряли слабые, дрожащие огоньки, а нравственность охраняли хмурые дяди в теплых служебных подштанниках. Нельзя было и

заикнуться, что все эти государственные деятели, подошедшие политики умершего режима ему уже по горло, особенно Зигфрид-Анна Мейровиц. О господи, как давно это было! Да, улыбка Гагарина еще принадлежала только жене молоденького лейтенанта. Хрущев еще не надумал зачеркнуть лишние нули на деньгах, а шлепать по лужам после грозы было наслаждением, жизнь измеряется потерянными молочными зубами, первые грешки и первые подлости, за которые надо краснеть и которых надо стыдиться, с каждым днем они безнадежно преумножаются, становятся противнее, страшнее и тривиальнее, пока, с годами, не начинают преследовать и шантажировать, и всю оставшуюся жизнь каждый бежит от них, бежит, запыхавшись, пугливо оглядываясь назад, пока, финишируя, не найдет избавления, прорвав траурную ленточку. Этот проклятый, совместно избранный путь заблуждений, когда одних больше поддерживает добро, других зло. И при подведении итога жизни выяснилось, что все лишь кружили по кругу. Вокруг вымышленного центра, этой неуловимой точки на линии горизонта, глупого и блестящего соблазна свободы, который и не собирается угасать. В конце концов, поколения опять и опять ступают по уродливым следам прошлого, которые время не успевает смыть с крутого берега настоящего. . . Странно, тот день поминовения умерших Арнольд запомнил удивительно хорошо — необычно раннюю зиму, покупку и возложение свечей и веночков, вопросы и ответы, разговоры, шмыгание носом и поездку на трамвае через мост Браса, за которым подле железной дороги в окружении проектировщиков мрачно и страшно виднелась тюрьма.

Точно так же время пощадило и пересадку в центре города, у диетического магазина. Там бабушка купила кулек шоколадных конфет. На первых порах горечь подслащивают «белочками», потом растворяют в водке, подумал Арнольд. Придя домой, почувствовал: что-то произошло. Почему? Предчувствие несчастья, эта бесконечно чувствительная средняя линия человека, схватывала неизмеримое приборами напряжение, заставляющее зверей спасаться от землетрясения или наводнения, напряжение, накаляющее добела нервы, выжигая горькие знаки памяти. В тот вечер бросался в глаза отпечаток туфли на досках пола в коридоре. Единственный белый след с узким носком, пятка размазана из-за скольжения. Это я четко помню, словно мое ушедшее фотографировал в момент преступления судебный эксперт, а я сейчас листаю пыльное, сохранившееся в архиве дело, в котором среди других есть и этот снимок. О рецидивистах, аферистах и насильниках я тогда ничего не знал, жил в убеждении, что воры, которых героические милиционеры вылавливают и сажают в тюрьму, грабят по ночам, залезают потихоньку в окно в мягких тапочках и, пока жильцы спят, прибирают все имущество. А бабушку, бесконечно строгую и порядочную бабушку этот след не тронул, она сделала вид, что белый отпечаток со смазанной пяткой был всегда. Откуда мне было знать, что перетаскивая и передвигая мебель, в спешке иногда случается задеть дверную перекладину, гудит стена, от штукатурки сыпятся крошки известки, и на них нечаянно наступают носильщики. А самой мебели в комнате не было. Не было книжного шкафа, полированного письменного стола, обтянутого кожей кресла. Теперь бы сказали — исчез кабинетный гарнитур времен культа. Вместо шкафа у стенки нарисованный седой пылью прямогольник. На нем лежал обильный пушистой грязью мяч. Синий пузырь с двумя перекрещенными красными линиями. Любимая игрушка, которую так безуспешно разыскивал. Играя ею в футбол, разбил прозрачную фарфоровую чашку, она рассыпалась на мелкие осколки, а бабушка надавала мне влажной тряпкой. Но в тот вечер она молчала. Какое переполненное психологическими коллизиями мгновение! Мальчишка, верящий в Деда-Мороза, и женщина, на глазах которой пылали пожары трех русских революций, маршировали солдаты двух мировых войн и одна за другой менялись цветные тряпки правительственных штандартов. . . Мы стояли и ждали, кто первым прервет тишину. Может быть, ошибаюсь. Кажется, в растерянности я не выдержал, начал от

страха плакать и бросился к бабушке. Как появилась мать, не помню. Даже если будет допрашивать *гестапо* или *НКВД*, все равно не вспомнить. Кажется, бабушка, как стишок, твердила упрек:

— Ну, что я тебе говорила, что я тебе говорила. . .

— Оставь меня в покое! — мычала в ответ мать и плакала.

Получив чашку горячего чая, конфету и порцию светлой лжи, я был отправлен спать, чтобы в последующие месяцы невольно выслушивать телефонные совещания с юристами, завистницами и подругами обеих женщин, слушать рассуждения о подсудных делах, взыскании алиментов, разделе совместного имущества, чужих суках, или шлюхах, моей ангине, его жестокости, дефиците муки, Эдгаре Звезе в музыкальной комедии, несправедливости, заграничных посылках, менструациях и о застезках-молниях.

Неожиданно Арнольд молниеносно засунул руку под одеяло, ловкими пальцами предпринял охоту в шерсти на груди и облегченно вздохнул. Нервы, нервы. . . Мало приятного, если за собственные деньги покусает блохи или клопы. Еще, чего доброго, на той стороне разденут догола и пошлют на дезинфекцию, как военнопленного, получат маленькое удовлетворение за колонну обворованных и исхудавших солдат, прошедших с поникшими головами по московским улицам жарким летним днем, оставляя за собой запах пота, грязи и близкой победы. А от отца по-прежнему пахло «Шипром». Они встретились через несколько лет. Была осень, мать поспешила второй раз выскочить замуж и занять в пузе ребенка, разглагольствовала, где бы достать хорошую детскую коляску, и все расспрашивала, кого Арнольд хочет — братика или сестричку. А он уже ходил в школу, тут-то Арнольда и поджидал отец в день, когда кончилась первая четверть и раздавали табеля. С отцом была чужая женщина. Арнольд вспомнил, а также по ее вороватому и в то же время оценивающему взгляду понял — это одна из тех потаскух и шлюх. Но потаскуха была хорошенькой, с блестками. Втроем долго торчали у школьных ворот. Мимо мчалась выпущенная на волю ребятня, а Арнольд, повесив нос, отвечал на вопросы. Как дела? . . . Хорошо. Отметки хорошие? . . . Хорошие. Меня помнишь? . . . Помню. Маму слушаешь? . . . Слушаю. Отец потрепал его за чубчик, а чужая женщина всучила плитку шоколада. Арнольд отнекивался, не хотел брать, все равно всучила. Папочка пообещал прийти еще. Честь и хвала, двухколесного велосипеда к весне за хороший табель он не сулил, но данного слова так и не сдержал и на новом «москвиче» так и не прокатил. Жаль, тогда ни у одного из отцов знакомых мальчишек не было своей машины. Так «москвич» и укатил, медленно, сверкая на солнце хромированными бамперами, а Арнольд зашагал в сторону дома, клянясь швырнуть шоколад в ближайший мусорник, пока не выдержал, поддался соблазну и разорвал фольгу, стал разжевывать шоколад с орехами. Губы он тщательно вытер рукавом пиджака. Дома бабушка удивлялась, отчего у внука совершенно пропал аппетит, а Арнольд гонял ложкой фрикадельки по супу. У него хватило ума, чтобы промолчать о случившемся.

Это великое лекарство — молчание. Улыбка на губах Будды. Застывший лик Сфинкса или изумление в глазах Иуды. Поколения мучеников в вечных казематах власти, вера и подобоострастие, востребованные портретами правителей. Издевка, таящаяся в колоде тишины, когда рот закрыт, а к барабанным перепонкам в ушах так и прилип вопрос. . .

. . . к барабанным перепонкам в ушах так и прилип вопрос:

— Послушай, старина, не пришло ли тебе время подумывать о вступлении в партию?

Арнольд смущенно промолчал и взялся за самое банальное средство, с помощью которого тянут время — за сигареты и спички. Струйка дыма вскоре поплыла по кабинету. Тут было место дешевому письменному столу, столу заседаний с графиком, дюжине стульев, железному ящику для хранения членских взносов и шкафу с десятью одинаковыми томами на полках, портрет их сочинителя висел на



стене, на почетном месте. Свидетельством технического прогресса и роста жизненного уровня в углу бодро вещал телевизор, правда, краски казались грязными, и лица людей вблизи были синюшными, как у пьянчуг на карикатурах. На экране в тот момент был виден зал, приглашенные в него товарищи бодро аплодировали и, подстегиваемые единым порывом, оторвали зады от обитых поджопников, чтобы потянуться в сторону президиума, точь-в-точь, как во всем известном монументе проталкивают в будущее серпик с молоточком рабочий и колхозница.

Арнольд уже второй раз выдохнул дым и продолжал молчать.

— Ну, какова твоя позиция? — не унимался парторг.

Арнольд посмотрел на агитатора и чуть не подавился от отвращения. Расхожий тип врача, начал учебу сразу после войны, когда воспевали первую каплю воды в кране и сетовали на катастрофическую нехватку медиков. Одни укатили в вагонах для скота навстречу восходящему солнцу, у других складывалась частная практика в эмиграции, к тому же евреи получили звезды Давида и румбульский песок в глаза, из оставшихся же — большинство казалось сиамскими близнецами айзсаргов или шуцманов, их так и ждали на улице Стабу или, в лучшем случае, экзамен по марксизму, подтверждающий буржуйский диплом. А новая поросль трудового народа уже сидела в аудиториях, пока первые советские выпуски не дали стабильную плеяду кадров, которые на десятилетия засели в номенклатурные кресла, создавали, руководили и организовывали народное здравоохранение. Доценту Бремерсу справедливый социализм тоже открыл возможности, к сожалению, сущность проститута исключала талант. Он был политиком местного значения в белом халате, хотя в этом кабинете он приносил меньшее зло, нежели раньше, когда активно пытался у операционного стола преодолеть комплекс неполноценности. Теперь партийная работа преумножала его сознание собственной значимости и давала возможность выписывать журнал «Америка». Самым идиотским в ситуации было то обстоятельство, что Бремерс и впрямь считал, что проявляет дальновзоркость и хватку, ему казалось, что действует мудро и утонченно, оказывает услугу, о которой не забывают, за которую чувствуют себя в долгу.

— Позиция? — протянул Арнольд, — моя позиция ясна. Партия руководит жизнью и... строительством всей страны.

— Нам нужны молодые, активные товарищи.

На экране был виден маленький старичок, его грудная клетка была выпячена, как пивная бочка. Он карабкался вниз с трибуны, и ближний план показал, что его, словно покорителя Эвереста, мучает недостаток дыхания.

— Ян Карлович! Несомненная эмболия легких, — Арнольд показал на телевизор. — Боюсь, что вам вскоре придется открывать очередной траурный митинг.

Вместо ответа Бремерс лишь скорчил кислую гримасу. Даже он знал, что анекдоты о нехватке мяса и пышности похорон государственных деятелей рассказывают все. Стоит репродуктору запустить грустную мелодию, как люди уже привычно начинают ждать обращения правительства к народу и ворчать, что опять поменяют телевизионную программу, три вечера подряд будут показывать приспущенные флаги, каллы и струнные квартеты. Поэтому

парторг пропустил мимо ушей последнюю фразу Арнольда, с серьезным видом поправил очки и выдал самый существенный аргумент:

— Кауфман оформляет документы. Сам понимаешь, пенсионер не может заведовать отделением.

— Ян Карлович, подумайте логично. У моей жены дядина родственников в Палестине, как его... *троюродный брат* аж в Южноафриканскую республику умотал...

— Не те времена, Арнольд...

— Не знаю, не знаю. Отделением заведовать без партбилета в кармане ведь мне не доверят.

— Есть предрассудки, Арнольд, есть. Чего скрывать. От многих стариков надо избавиться. Подумай о науке. Собираешь материалы, а только — как ты защитишься?

— Я сегодня много резал. И вообще — я ничего не собираюсь защищать.

— А почему нет? — это были первые искренние слова Бремерса за все время разговора.

Арнольд молчал и дал возможность трибуну в ящике телевизора сказать о задачах на будущее. Хотелось выдать сочную гадость обо всех этих защитах. О глубокомысленных ученых мужах, для которых защита означала прибавку к зарплате, гарантированный выезд на симпозиумы и в магазины в капстранах да место в почетном карауле у дверей, когда иностранные делегации знакомятся с советской действительностью. А еще расчудесное ощущение общности, чувство локтя, дачи построены на одном кооперативном пригорке, и стулья в президиумах стоят рядом, и жены — закадычные подружки, а детки в одной группе на медицинском. Секретов нет, после охоты в бане достаточно насмотрелись друг на друга нагишом, взаимная верность подтверждается прочувствованными речами за официальными юбилейными столами в честь круглых дат со множеством деликатесов и у свежих могильных холмиков, где в избытке венки и грусть.

— Арнольд, я понимаю, это неожиданно, вдруг. Ты же знаешь, как мало райком выделяет мест. Подумай как следует! Может быть, тебе нужно время на размышление? Я ведь не гоню тебя, как червяка в землю.

— Да, при социализме голубая кровь пахнет машинным маслом или навозной жижей. Только я, Ян Карлович, слишком труслив, чтобы использовать свою привилегию первым идти в бой...

— Коллега, я думаю, вы еще не раз пожалеете о своей опрометчивости. Можете быть уверены, партия без вашей персоны не пропадет! — доброжелательность во взгляде Бремерса теперь исчезла, белый накрахмаленный халат стал напоминать униформу, а глаза, как у защитника осажденной крепости, до мозга костей уверенного в своей правоте.

Арнольд молча ушел. Политическая вербовка прошла в одну серию, ответ дан, и, в качестве утешения — ясность, что эти разговоры не растянутся на бесконечные вечера вопросов и ответов, не придется уклончиво изучать колени, тянуть время и рассуждать о значимости и важности такого шага. Теперь можно спокойно смотреть на стенд с объявлениями о времени и месте собраний, выражать сочувствие коллегам, у которых близится начало учебного года в политехничке, и инстинктивно беречь спину...

(Продолжение следует)

AVOTS N 12

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

* * *

Нет, ничего прекраснее уже не будет — понимаешь ли?
И нет в этой минуте ничего величественного.
Машины не поют, и асфальт не расцветает.
И уголь не принесен. А завтра похолодает.

* * *

Нет, прекраснее уже не будет. В крови меньше света.
А в детях больше чужого, в цветах ковра
всё больше сухих лепестков.
Затерта пластинка, а ты ее слушать готов
как ненаступивший праздник, недостигнутую свободу.

Однажды всё писалось первым снегом,
нежнейшими снежинок письменами
там, на асфальте, в городе, который
так безнадежно постарел, что больше
не хочет вспоминать о первом снеге.
В палате на стекле оконном после
глазами лишь писалось, но столь долго,
так густо, что исписано стекло
до черноты, и память разглядеть
уже не может сквозь него. И пламя
охватывает записные книжки,
и поздние сомнения стирают
написанное некогда. И жизнь
от первого отчаянного снега
и до конца умолчена...

* * *

Так кто же мне вернет тебя? Рубли,
которыми мостила я дорогу
сквозь детство детям? Или те слова,
чьи лица настоящие увидев,
теперь уж я не в силах позабыть?
И начинает мниться мне, что имя
одно лишь и осталось от меня.
Еще есть ты. Я, может быть, живу
там, у тебя — и не вернусь обратно
к растраченному имени...

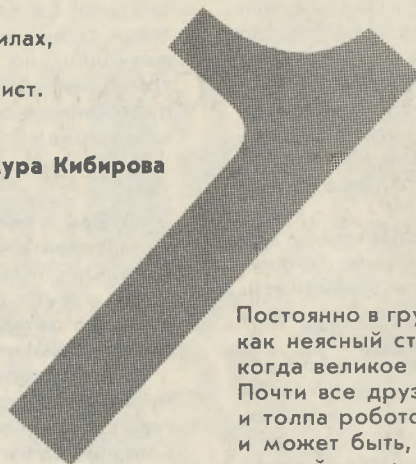
* * *

Весна, когда хочется уйти
пока так прозрачно всё — как будто
здесь не принадлежит
никто никому.
Только солнечные лучи
связывают нас.
Может быть, из газетных полотнищ зимы
склеить змея,
дождаться ветреного рассвета
и уйти вслед летящему змею?
Медлить нельзя.
Ведь воздух густеет — скоро
страницу до ужаса белую раскроют
нарциссы — цветы подземных божеств.

12

- * * *
- Руки свои сполосни в этой чистой воде,
алы они от малины.
 - Нет, столь прозрачен родник, что грешно замутить
даже и соком сладчайшим его!
 - Не тревожься.
Не повредишь ты источнику, вечно чиста
будет вода под зелеными кронами,
ибо она искупалась в нем —
та, что сажает цветы на позабытых могилах,
та, что всегда собирает песни забытые.
 - Ты ее видел? — Нет, но родник вечно чист.
Вымой же руки.

Переводы Тимура Кибирова



* * *

Постоянно в груди словно бьется ночная бабочка —
как неясный страх. Но страшно-то было давно —
когда великое будущее затеняло окно.
Почти все друзья еще живы
и толпа роботов не вышибает мне дверь пинком,
и может быть,
мы действительно будем жить мирно и долго, но
штыком —
ночная бабочка в моей груди. Этот день
проглатывает разные боли одним глотком.

* * *

Когда меня уложил тиф и под новобранца меня постригли,
и в обледенелом городе Гражданской Войны
в последней лампе был выключен ток,
что могло изменить твоё письмо, в котором
строчки так и прыгали?
Я с трудом держала в руке этот беленький листок,
в полной тьме трепещущий, как свеча,
в ледяном сновидении, где голос твой не звучал.



AVOTS N 12

* * *

В буфете я пила кофе с угрюмым ёрником-пророком.
В автобусе рядом со мной сидел усталый монах.
— Ты все еще веришь? — Да, слову, которое вечно
выходит боком,
и любви, которая всегда рассыпается в прах.
Где-то взрывались бомбы и пыль до небес вскипала.
Дрожало оконное стекло, как сквозь сон вспоминая
военный страх.
— Ты еще веришь? — Да, слову, летящему по ветру как
попало,
и любви, которая всегда рассыпается в прах.

Переводы Александра Ерёмченко

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛЮБВИ

Не сводя с нее глаз, Шпек, как тотчас про себя Иоланта окрестила парня, вытащил из кармана и медленно развернул салатного цвета полиэтиленовый пакет, сунул туда обе книги — «Хуана Маркадо — мстители из Техаса» и «Женщину в белом» и вместо того, чтобы уйти, продолжал стоять и смотреть на нее. Иоланта уставилась в столешницу, ненавидя себя за то, что не может одним взглядом поставить Шпека на место, давай, мол, катись, сказочный принц! Она надеялась, что Шпек не видит, как она вся сжалась под его взглядом, не замечает, что лицо ее каменеет все больше.

В стекле столешницы отражались ноги Шпека — два мощных орока, затиснутые в светло-серые брюки. Иоланта вовсе не считала себя невестой какой красавицей. Мустанг и Верблюд — вот ее школьные прозвища, и когда она сейчас приглядывалась к себе, ей казалось, что эти клички все еще не утратили своей актуальности. Но больше всего Иоланту угнетало сознание, что она не умеет себя вести, что с нею скучно. Не умеет быть интересной, потому что некрасива, а не нравится никому потому, что скучна. И в свои двадцать три года она все еще была одна. А если честно — стыдно в этом даже признаться — своего парня никогда и не было у Иоланты, и целовалась она один-единственный раз на похоронах деревенского родственника — с напояженным бриолином хлыщом, типом неопределенного возраста, кажется, каким-то доморощенным актером, а может и нет; Иоланта ни разу больше его не видела.

Однако это вовсе не значит, что она бросится на шею первому встречному, который обратит на нее внимание. Иоланту задело, что такой тип, как этот Шпек, осмелился так долго и многозначительно таращиться, как бы заявляя на нее свои права.

И не было в том особой случайности, что перед появлением Шпека Иоланта размышляла над своей жизнью и в очередной раз, окончательно и бесповоротно, решила, что жизнь ее бессмысленна и пуста. Что никому жизнь ее не принесет ничего хорошего, в том числе и ей самой. Эти мысли Иоланту занимали часто — с тех самых пор, как она дважды провалилась на вступительных экзаменах в университет. И хотя в третий раз ей наконец повезло — правда, она стала всего лишь филологом-заочницей, а не юристкой-очницей, стать которой пыталась дважды, — ее уверенность в том, что она последняя неудачница, колебать не могло уже ничто. Да, конечно, она теперь студентка, ей больше не надо перебегать на другую сторону улицы, чтобы не встретиться с идущим навстречу однокурсником или с кем-нибудь из учителей, ну и что из того? Конечно, может, мать или еще какой-нибудь болван действительно считает, что работа в районной библиотеке — предел ее мечтаний и что она из большой любви предметом штурмов избрала именно филологию. Смешно просто! Иоланта не собиралась кривить душой, даже перед собой, пытаясь доказать, что это была победа, а не жалкая уступка обстоятельствам. Такая вот у нее жизнь — раскрепощенная юность, когда перед тобой открыты все двери, все пути-дороги и все такое прочее. Ну что ж — предвидеть соответствующее продолжение столь многообещающего начала тоже нетрудно. Неприметная судьба старой девы. Скупые и жалкие утешения одинокой женщины. И беспросветное одиночество одинокой женщины, словами его не передать — одиночество, которое Иоланта уже изведала: я никому не нужна, никто меня не любит и никогда не полюбит. Такую, как я, любить и нельзя.

В стекле столешницы она видела, как Шпек потоптался, перенес тяжесть тела с одной ноги на другую. Неожиданно для себя Иоланта подумала: а что, если бы вдруг Шпек обнял ее и поцеловал? И тут же ее захлестнула волна

ненависти к Шпеку, который своей назойливостью просто навязал ей такую мысль. Ничуть он ей не нравится, ну насколько! Ее идеал мужчины совсем другой, может быть, это и смешно, может быть, это идеал тринадцатилетней девчонки, но мечтала Иоланта только о таком — лет тридцати пяти, темные волосы, голубые глаза, известное положение в обществе; он мог быть режиссером, врачом или журналистом, в худшем случае инженером.

Шпек снова затоптался. Но не уходил. И все так же молчал.

— Вам что-то еще нужно? — ни с того ни с сего спросила Иоланта — спросила мягче и тише, чем бы того хотелось. Она подняла глаза и взглянула Шпеку прямо в лицо. Глаза у него были небольшие, темные и живые, только какие-то затуманенные, как будто он переел или хотел спать. — Вы что-то еще хотели? — повторила она.

Шпек улыбнулся, вернее — довольно глупо ухмыльнулся. Ничего другого от него Иоланта и не ждала: по книгам, которые он выбрал, было ясно, с кем она имеет дело. Она кинула взгляд в читательский билет, который сама же минуту назад Шпеку и выписала. Жагарс Инт Витольдович, образование — среднее, профессия — шофер, год рождения 1961. Имя Инт Шпеку не подходило. Инта Иоланта представляла себе стройным и ловким, может быть даже с бородкой, вообще это был парень что надо. А Шпек такой, какой есть. Одним словом, Шпек.

— У тебя кофточка красивая, — вдруг сказал он.

От неожиданности Иоланта только улыбнулась — вероятно, не менее глупо, чем до этого он. Хотя «кофточка» — на самом деле свитер с высоким воротником и «золотой» вышивкой — ей и самой нравилась. Свитер ей шел. В лицо Шпека она смотрелась как в зеркало — а оно говорило, что иногда и она может выглядеть вполне сносно. От взгляда Шпека ей стало тепло, но это не было чувство неловкости, по телу разлилась приятная теплота. Ну что в том плохого, что Шпек сразу назвал ее на ты? Не пенсионеры же они.

Вот в такие редкие светлые мгновения мысли Иоланты о неизбежности судьбы старой девы и давали трещину. Ведь может случиться, что ее кто-нибудь заметит, оценит как человека? Она ведь не уродина, не калека, просто тихая, скромная девушка. Правда, мать не упускала возможности напомнить: «И чего ты все прихорашиваешься, все равно красавицей не обернешься!». Обычно разговоры эти происходили по вечерам, когда Иоланта накладывала на лицо дрожжевую или белковую маску. Иоланта знала, что мать говорит не со зла: просто у нее был свой взгляд на вещи, своя система ценностей, она и предположить не могла, что брошенные ею слова так больно ранят дочь. Мать самым большим несчастьем для девушки считала не то, что ее обходят вниманием, а неудачный брак — с каким-нибудь лоботрясом, авантюристом или юбочником. Эти idiotские рассуждения выводили Иоланту из равновесия: словно других бед на свете не бывает! Неужели же разойтись и остаться с ребенком хуже, чем зачахнуть в девках, владеть жалкое существование и умереть никому не нужной? А совратители, их обман, их хитрость, а быть брошенной, а отчаяние, аборт — неужто же мать обо всем этом ничего не знает? Но Иоланта с ней не спорила, ибо по опыту знала, что все равно ничего матери доказать не удастся и в итоге придется в очередной раз выслушивать историю о том, что отец Иоланты за юбками бегал еще когда на шиферном комбинате работал, значит, вскоре после женитьбы, что только потом выяснилось, что сошелся с медсестрой из первой больницы, и т. д. и т. п. Иоланта весь рассказ матери знала наизусть и про себя с ненавистью называла «эпिताмой». Чтобы избе-



Иллюстрация КРИСТАПА ГЕЛЗИСА

жать «эпителиды», она, стиснув зубы, делала вид, что сочувствует и со всем согласна.

Часы показывали восемь — пора закрывать. Иоланта сегодня работала одна: заведующая вот уже вторую неделю болеет, уборщица должна прийти то ли завтра утром, то ли завтра вечером, а может, и вообще послезавтра — угадать, когда она явится, практически невозможно. «Рожденная свободной» — так язвительно называла ее про себя Иоланта, но высказывать упреки не рисковала, потому что тут же на нее обрушивались неопровержимые доказательства невиновности, под конец хоть уши затыкай, слушать уже не было сил. О своих правах Бирута (так звали уборщицу) напоминала по поводу или без повода: во всяком случае, раз в день обязательно, то есть в те полчаса, пока она протирала остатками грязной тряпки проход между книжными полками, успевала вставить, что она мать-одиночка, что заочно изучает в Москве историю искусств и, между прочим, уже на четвертом курсе. Бируте было лет около сорока, и иногда за ней заходил жених. Иоланта про себя называла его несколько иначе — этакий хилый мужичонка, до которого, казалось, дотронься пальцем, и он опрокинется.

Но сегодня Иоланта вдруг пожалела, что Бирута не пришла — со всем ее нитьем о жалком пособии матери-одиночке, невыносимых жилищных условиях — без ванны, горячей воды, «сухой» уборной, — заочной учебе и жене жениха. Шпек все не уходил, а за окном темнело прямо на глазах, вокруг стояла тишина, даже машин на улице не было слышно, и с каждой секундой Иоланта чувствовала себя все неуютнее. Она подумала о том, что во всем здании они сейчас одни: над библиотекой был чердак, внизу аптека, которая закрывалась в шесть. Чего, интересно, Шпеку от нее надо?

Она медленно поднялась со стула, накинула на плечи жакет, вынула из ящика связку ключей. На Шпека не смотрела, но из поля зрения не выпускала. Отгоняя страх, Иоланта мысленно пыталась представить, что во внешности Шпека вызывало у нее симпатию — нет, не его взгляд, не улыбка, вообще не выражение его лица. Что-то другое. Может быть, его руки, его толстые, как будто надутые пальцы, которые не переставая мяли и теребили ручки полиэтиленового пакета? Или торчащий на затылке хохолок? Иоланте хотелось верить, что человек, наделенный такими обыкновенными, даже смешными чертами, не может иметь дурных намерений. И все-таки она не рисковала поворачиваться к нему спиной; остановившись перед ним, она принялась вертеть на указательном пальце связку ключей, давая понять, что пора и честь знать. И тут вдруг ее поразила удивительная симметрия: слева и справа у каждого на одинаковом расстоянии по два окна, одно окно за спиной у нее, одно — за его спиной. За окнами темень, в черных боковых стеклах видны они оба, стоящие друг перед другом, а рама окна за спиной — словно рама картины с их портретами.

— Я тебя провожу — ладно? — спросил Шпек.

Она внимательно, с любопытством и чуть-чуть разочарованно глянула на его отражение в окне. Так вот, оказывается, как все просто! Внешне он ничуть не напоминал тот образ, который жил в воображении Иоланты. И все-таки ей вдруг расхотелось называть его Шпеком. Инт — нормальное, хорошее имя.

Потом, уже вечером, лежа в темноте под одеялом, она еще раз пережила все случившееся. Конечно, когда она явилась домой чуть ли не на час позже обычного, мать устало попрекнула: могла бы предупредить заранее, чтобы не думать о самом плохом.

— Вот будут у тебя дети, вырастут, перестанут с тобой считаться, тогда узнаешь, что это такое, — жалобно закончила мать.

Иоланта молча жевала холодную картофелину; ужин, хоть и стоял в духовке, давно остыл. «Что же, по-твоему, самое худшее? — мысленно спросила Иоланта у матери. — Не волнуйся, ни один донжуан жениться на мне не собирается! На мне, между прочим, вообще никто не

собирается жениться». А мать сидела, сложив руки на коленях, и молча смотрела, как Иоланта ест.

— Не читай только допоздна, — по привычке сказала она, вставая. — Утром не встанешь.

Иоланта закатила глаза. «Без твоих нравоучений, — мысленно сказала она, — мир бы рухнул». Сегодня ей совсем не хотелось читать. Иоланта знала — как только она свернется калачиком на своем диване, тут же выключит свет, но долго еще не заснет. Она закроет глаза и еще раз посмотрит фильм, который уже видела, снова представит все, что произошло сегодня. Мгновение, когда она протянула к выключателю и случайно коснулась плечом Инта. Нет, ничего особенного не случилось, он просто сделал шаг назад, уступив Иоланте место. Но именно в эту минуту между ними возник как бы молчаливый заговор, во всяком случае так подумалось Иоланте. И потом, уже на улице. Фонари, прячущиеся в листья лип, бросают круги света, улица широкая и пустынная. Бывшие частные дома Межапарка выглядят красивыми и таинственными: трещины, вывалившаяся штукатурка, осыпавшиеся края балконов — все это скрыто во тьме. Они идут почти рядом, и кажется само собой разумеющимся, что Инт должен обнять ее за плечи. Но этого не происходит.

— Пришли, — говорит Иоланта, когда они подходят к ее дому.

В отличие от домов, мимо которых они только что проходили, этот даже в темноте кажется вызывающе безобразным — почерневшие кирпичи, маленькие окна. Здесь начинается бывшая рабочая окраина Саркандаугавы. Раньше Иоланта никогда не задумывалась, красив ее дом или нет. Дом как дом, в квартире под номером шестнадцать на третьем этаже Иоланта жила столько, сколько себя помнила. И сейчас, стоя перед ним, Иоланта внезапно подумала: вот уж действительно самый страшный, самый безобразный дом во всей Риге!

— Ты каждый день работаешь? И завтра придешь? — спросил Инт.

Иоланта кивнула. Ждать, пока Иоланта войдет в подъезд, он не стал. Когда в дверях она обернулась, собираясь махнуть на прощание рукой, Инт уже был почти на углу. Одна тень — короткая и сплюснутая — бежала впереди, а другая — огромная и бесформенная — сопровождала его, постепенно сжигаясь.

На следующий день он не пришел. И через день, и через два тоже не пришел. А когда минула неделя, Иоланта поняла, что Инт вообще больше никогда не придет, не понравилась она ему, показалась скучной, неинтересной. Ведь и раньше ее никто не замечал, и раньше никому она не нравилась. С чего бы это Инт вдруг стал исключением? В положенный срок принесет обе книги, может быть возьмет что-нибудь еще — и это просто лишний раз подтвердит то, в чем Иоланта давно уверена: ей на роду написано быть одной. Старая дева, на чью нравственность никто не покусится.

С каждым днем Иоланта все больше и больше мрачнела, но почему-то вечерами подолгу сидела перед зеркалом, во всяком случае дольше, чем раньше, сооружала самые невероятные прически, перепробовала самую разную косметику, и все это для того, чтобы в конце концов в отчаянии признать, что ничего ей не подходит и в собственной внешности ее лично ничто не устраивает — ни глаза, ни нос, ни волосы, да и ноги впридачу у нее как тумбы. Все это сопровождалось привычными материнскими сентенциями: «Опять перед зеркалом крутишься, как какая-нибудь актриса», «Нос у тебя оттого и красный, что трешь его да тискаешь», и все в таком же духе.

Инт появился ровно через три недели — во вторник вечером. Иоланта почему-то заметила его, только когда он уже стоял у стола, хотя за эти три недели у нее, можно сказать, даже привычка выработалась поглядывать на входную дверь, когда та гулко стучала, впуская очередного посетителя, хотя Инта она уже не ждала. А тут вдруг совершенно неожиданно он снова вырос перед нею, и в настольном стекле точно так же, как три недели назад, она

увидела его ноги. Иоланта сидела не шелохнувшись, не произнесла ни слова. Инт тоже молчал. И только из читального зала доносился приглушенный голос Бируты: «... один туалет на шесть квартир... и ухом не ведут, хоть в Москву жалуйся... как-никак я мать-одиночка...»

— Ты сегодня свободна? — спросил он Иоланту напрямик, как-то даже до обидного в лоб, словно на все сто процентов был уверен, что Иоланта только тем и занималась, что его ждала.

«Смотря для кого!» — задетая его тоном, ответила про себя Иоланта. А вслух несмело и не очень убедительно сказала:

— В десять вторая серия — о Шерлоке Холмсе. Не смотрел вчера?

— А, э-то, о братьях-близнецах и драгоценностях? Да его уж какой раз крутят! Там потом найдут труп второго брата, а в тайнике — ну в потайной комнате, где он прятал сокровища, — ничего не найдут; Холмс тут же — ага! Все ясно: через отверстие проникли двое, один с деревянной ногой, второй — муж хозяйки гостиницы, и...

— Это в первой серии! — перебила его Иоланта.

— А тебе прямо позарез смотреть хочется?

Она пожала плечами. Теперь-то, конечно, Инт больше и не сомневается в том, что она идиотка. Если он не понял этого раньше. Она вскочила, неловко и стремительно, как вскочило бы нечто среднее между мустангом и верблюдом. Ну и пусть!

— О, ты уже домой собираешься? — умильно пропела Бирута, обрвав подробный рассказ о том, как засорилась общественная уборная, потому что сын соседки из 21-й квартиры бросал в горшок целые газеты — а еще культурным человеком считается, студент университета! Женским чутьем Бирута угадала, что Инт не простой посетитель, и так и ела его глазами.

— Вот именно что домой, Бирута! — подтвердила Иоланта.

Возле железнодорожного переезда Инт свернул налево, мимо «Фантомаса» — так называли местные жители кафе, не имевшее официального названия, но даже если оно и было, его никто не знал и никто им не пользовался. Тропка вдоль кафе вела к станции Саркандаугава.

— Ну, идем! — позвал ее Инт с легким нетерпением, видя, что Иоланта колеблется.

— Куда? — тихо спросила она.

Чуть дальше, на железнодорожных путях, ведущих в сторону Видземского взморья, вместо красного загорелся зеленый свет: это значит, что от станции вот-вот отойдет электричка. Иоланта поняла — Инт потому и торопится, что надеется успеть на этот поезд.

Она подумала о матери. Все, что ждало ее дома, было до одури привычным — обычные ежевечерние дела, замечания матери, программа ЦТ «Время», потом какой-нибудь фильм или концерт — и вдруг душа ее запротестовала. К черту, надоело отчитываться за каждый проведенный вне дома час! Она давно уже не в пионерском возрасте. Другие в ее годы, если захотят, вообще домой ночевать не приходят, и никто их за это не пилит, не устраивает пытки «эпиталамой!» Однако, как ни старалась Иоланта разжечь вспыхнувшее раздражение, послушно шагая рядом с Интом в сторону станции, где-то внутри тлело беспокойство, и когда вдруг она представила тщательно укутанный обед, сердце сжалось от угрызений совести. И Иоланта заставила себя вообще не думать о доме и о матери.

Они ехали в последнем вагоне и, когда вышли, очутились в крошечной тьме: фонарей, освещавших перрон, уже не было. Некоторое время молча шли вдоль насыпи, потом свернули на довольно широкую и хорошо освещенную улицу, которая шла перпендикулярно железной дороге. Через открытое окно дома, прятавшегося за кустами сирени и фруктовым садом, донеслась любимая песенка Бируты «You're my heart, you're my soul». Она все ждала удобного момента, чтобы выяснить наконец, куда Инт ее ведет, — спросить деловито и спокойно, не

давая ему повода считать ее тупой, трусливой душой. Но подходящий момент все не наступал. Не могла же она остановиться и ни с того ни с сего спросить: «Зачем мы сюда приехали?» Когда она выписывала Инту читательский билет, он назвал адрес — улица Строителей, 5. О такой улице Иоланта никогда не слыхала. И только сейчас сообразила, что, очевидно, находится она здесь.

Иоланта замедлила шаг.

— Послушай... — начала она.

Инт не ответил. Он пошел вперед и нырнул в темный проход между большим домом из белого кирпича — над дверьми Иоланта заметила вывеску «Хозяйственные товары» — и высоким, заросшим диким виноградом забором. «Дальше не пойду», — решила она.

— Осторожно, не упади! — кинул Инт через плечо. Но почувствовав, что Иоланта отстала, остановился. — Где же ты? Боишься? Я хочу тебе что-то показать.

Но Иоланта не двинулась с места — осталась стоять на границе тени, которую отбрасывала стена магазина. Нет, она не боялась Инта, во всяком случае в том смысле, что между ними может произойти нечто большее, чем позволит она сама. Неуверенность была вызвана сомнением в собственном поступке — не сама ли она дала повод, согласившись поехать в столь поздний час бог знает куда? Разве ж мог он додуматься, что единственной причиной, которая привела сюда Иоланту, был банальный страх показаться святошей? Не лучше ли было сразу дать понять ему, что он имеет дело с девушкой порядочной, а не изображать из себя выдающую виды женщину? Даже в том случае, если бы из-за этого Инт потерял к ней интерес и никогда больше не пришел.

— Что ты хочешь мне показать? — спросила она, пытаясь тянуть время.

Инт пристально посмотрел на нее. Свет от фонаря падал на его лицо — оно было белое как мел, как на передержанной фотографии.

Ветер шуршал в виноградных листьях. Налетели влажная пронизывающая свежесть, запах болота и камыша.

— Идем! — сказал Инт.

За забором, увитым виноградом, начинался луг. И хотя глаза Иоланты привыкли к темноте и тьма уже не казалась такой непроницаемой, тропинка в высокой траве еле угадывалась — несколько раз она споткнулась. На часы Иоланта больше не смотрела. Да теперь не имело значения — явится она домой часом раньше или часом позже. Впереди, справа за пригорком, посреди деревьев моргнул огонек, и шагов через десять Иоланта увидела, что это светится окно дома: судя по очертаниям на фоне неба, это была одноэтажная дачка типа вигвама. Слева на одинаковом расстоянии от тропинки тянулся кустарник, порывом ветра с той стороны снова донесло запах близкой воды.

Незаметно тропинка кончилась. Слабый свет из окна вигвама отразился в сетчатом заборе, которым была обнесена песчаная площадка, в одном углу которой приткнулась квадратная дощатая будка, по обе стороны от нее покрытые полиэтиленом кучи то ли земли, то ли гравия, а прямо посередине утопленный в земле бетонный лабиринт, очевидно, фундамент строящегося дома.

— Ну? — Инт положил руки на плечи Иоланты. По голосу можно было догадаться, что он улыбается.

Иоланта всем телом навалилась на забор — железная сетка мелодично зазвенела. «Так!» — подумала она. Однако больше ничего не произошло. Только сердце Иоланты стучало так громко, что зазвенело в ушах.

— Где мы сейчас? — спросила она, стараясь придать своему голосу непринужденность.

— Мы здесь будку строим, со стариком, — коротко бросил Инт.

— Дом? — с опаской спросила Иоланта. — Дачу?

Иоланта впервые в жизни видела человека, который мог себе позволить строить загородный дом.

— Но это же стоит жутких денег?!

— Как посмотришь! — пожал Инт плечами. Потом засмеялся: — Знаешь, как мой старик говорит? Чем раньше

построим, тем раньше посадят. Чем раньше посадят, тем раньше выпустят. Но это он так, болтает, понимаешь. Это мечта всей его жизни, собственный дом, своя крыша над головой... Да что об этом вообще... — Инт качнул головой в сторону времянки: — Пойдем погреемся?

«Ишь чего захотел!» — мысленно подначила Иоланта.

Водарилась напряженная тишина, как в той детской игре «холодно — горячо», когда спрятавший, если возле спрятанного предмета остановился водящий, должен кричать: «Горячо, горячо, очень горячо!». Неожиданно стало моросить, огонь в окне вигвама погас.

— Нет, я в дом не пойду! — сказала Иоланта.

— На улице будешь стоять? Но ведь дождь. А я спрячусь.

Иоланта повернулась и зашагала по рыхлому песку назад. Взглядом она пыталась найти начало тропинки: если она правильно угадала, тропка начинается чуть-чуть левее, прямо напротив вигвама. Неожиданно свисающие вниз ветви ив вызвали в памяти другой вечер — три, а то и четыре года назад. «Даже деревья своими руками тянутся к звездам», — сказал ей тогда пахнувший бриолином самодельный актер, или как его там. Иоланте это выражение показалось сентиментальным. Тогда у нее были длинные, уложенные «ракушкой» на затылке волосы. Когда «ракушка» развернулась, мужчина подобрал с сиденья машины выпавшие шпильки и молча вложил их в руку Иоланты. Вероятно, он давно уже забыл ее.

Слышно было, как в сторону Риги ушла электричка. И тотчас позади Иоланта услышала шаги Инта. Но она не остановилась, даже не оглянулась. Где-то далеко лаяла собака: временами лай переходил в долгий вой. Вдруг Инт обнял Иоланту сзади обеими руками.

— Ты рассердилась на меня? — прошептал он. — За что? Останься со мной, слышишь!

Иоланта стояла не шевелясь. В конце концов для кого она себя бережет? Время бежит так быстро, скоро ей двадцать четыре. Для кого она себя бережет — для старости, для смерти? Может ведь и так случиться — она будет ждать, ждать, но так ничего и не дожидается, как не дождалась до сих пор. «Даже деревья тянут свои руки к звездам», — вспомнила она снова. Долгие месяцы она думала, что мужчину этого любит и что рано или поздно, но они встретятся.

Обернувшись, она увидела, что двери времянки открыты, внутри горит свет: светлый прямоугольник напоминал сцену. Иоланта подумала, что пройдет время, но она все это обязательно будет помнить. И сверкающие на фоне светлого прямоугольника дождинки, и то, что сегодня вторник, двадцать третье сентября, и собственный голос, спокойный — как будто говорил кто-то посторонний, не она.

— Ладно, идем!

Внутри все было так, как обычно бывает там, где люди живут временно — заставлено, загромождено, но уютно, особенно потому, что снаружи было темно и холодно и по крыше стучал дождь.

Помещение было маленьким, самое большее метра четыре с половиной, и все-таки легче было перечислить то, чего здесь не было, чем то, что здесь стояло — начиная с весел и красно-белого спасательного круга из пенопласта в одном углу и кончая полуразобранном мотоциклом в другом, не говоря уже о разных строительных инструментах. Стулья заменяли два стоящих стоймя ящика.

— Садись! — пригласил рукой Инт, смахнув пыль со стоящего поблизости. — Я сварю чай! Хочешь?

Иоланта незаметно взглянула на него — деловито, оценивающе. Затем трусливо сказала:

— Вечером я должна быть дома.

— Ах, так? — спросил Инт и снял с полки плотно свернутый надувной матрац. — Ничего, успеешь, поезда ходят долго. Не бойся, я тебя провожу. Бери, угощайся, печенье вон на газете.

Она молча смотрела, как Инт надувал матрац — с таким

усердием, что Иоланту охватила паника. Поймав ее взгляд, Инт многозначительно усмехнулся. Иоланта обеими руками вцепилась в край ящика. Осторожный стук дождевых капель постепенно превратился в монотонный равномерный шум.

— Извини, но простыней у меня нет, — сказал Инт, закидывая подушку матраца между веслами и ящиком с инструментом. — Я погашу свет, да?

— Нет, подожди! — воскликнула Иоланта.

— Пусть горит?

— Нет, ни в коем случае!

Инт выразительно посмотрел ей в лицо. Взгляд его говорил: «Что же тебе надо, черт тебя побери?!». Протянул руку, и водарилась тьма.

— Ну, иди же ко мне, — сказал он и притянул к себе Иоланту. — Киска!

Но в голосе его не было настоящей нежности, да и слово «киска» казалось Иоланте неподходящим. Она думала, что мужчина, любящий женщину, произносит другие слова, а может, вообще не говорит ничего.

— Что с тобой? — уже сердясь, прошептал он.

— Ну не знаю, — пробормотала она, словно окаменев.

— Ты что ты как мертвая? — прошипел он ей в самое ухо. — Нет, так у нас ничего не выйдет. Расклад не тот.

В следующее мгновение на них что-то с грохотом свалилось. Он застыл, и тут же тихо ругнулся.

— Весла упали, — сказал он, пошарив руками по полу. — Так вот и бывает, когда повернуться негде, — добавил он таким тоном, словно в том, что мало места, виновата Иоланта.

А затем подтащил матрац с Иолантой к выходу. — Ну, понеслись!

... В поезде по дороге домой Иоланта села на последнюю скамейку лицом против движения, затылком к вагону и остальным пассажирам. Она с удовольствием закрыла бы сейчас глаза и заснула, но сна не было ни в одном глазу.

Иоланта ни в чем не винила Инта. В чем она могла его упрекнуть? Он не обманывал ее, ему даже не пришлось ее уламывать. Может быть, она, так легко согласившись, совершила непоправимую ошибку? А где гарантия, что Инт вообще не отвернулся бы от нее, оттолкнул она его сразу же? А может быть, Иоланта просто-напросто не во всем до конца разобралась?

За окном замелькали домишки Мангали. Иоланта посмотрела на часы — без девяти минут двенадцать. «Я как все порядочные девочки, — подумала она с черным юмором, — ложусь в кровать в десять, чтобы к двенадцати попасть домой».

Наконец она вспомнила о матери, вернее, позволила мысли о ней прорваться на поверхность сознания — так выскакивает из воды мяч, который долго удерживали под водой. Десятки, а может быть, даже сотни раз Иоланта слышала материнское: «вот когда у тебя у самой будут дети...» и «если бы ты когда-нибудь думала обо мне», поэтому она давно привыкла не слушать того, что говорит мать. Это были всего лишь незначущие слова, всего лишь фон. И вот внезапно она подумала о матери как о женщине, такой же, как сама Иоланта. Неужто только одна Иоланта заполняла всю жизнь матери? Они всегда жили вдвоем, Иоланта ничего не помнила о том времени, когда отец еще жил с ними, и если бы кто-то спросил Иоланту об отце, она ответила бы однозначно и просто — ну, какой-то мужчина. С бородой. Работает электриком. Насколько ей известно, живет в Иецаве. Несколько лет назад, когда он еще не жил в Иецаве и не был второй раз женат, то одна из родственниц рассказала, что встретила его случайно в Риге, в Задвинье, хотя долгое время считалось, что он из Латвии уехал и где находится, неизвестно. «Выглядит плохо, оброс бородой, опустился, живет с какой-то русской», — шепнула, наклонившись к уху матери, родственница. Мать Иоланты в это время варила варенье, раскраснелась, взмокла. На лице выступили бисеринки пота. Одной рукой она помешивала в большом дымящемся тазу, ладонью другой вытирала пот. Вдруг она

швырнула деревянную ложку в таз, закрылась локтем и разрыдалась. Плечи, грудь, все ее рыхлое тело — мать год от года толстела — тряслось от рыданий. Сама она говорила, что у нее нездоровая полнота — от сердца. Тело отекает, полнота ее не такая, как у тех, кто много ест. Любила ли она кого-нибудь с тех пор, был ли у нее кто-нибудь? — впервые подумала Иоланта. Мысль эта ее поразила. Мать была просто матерью, человеком, который постоянно находился рядом, заботился о ней, был надоедливым, даже невыносимым своей назойливостью, обременительным. Никогда Иоланта не думала о том, счастлива ли мать. У нее на это просто не оставалось времени, ибо ей надо было думать о самой себе. «Если бы она узнала о том, что случилось сегодня! — подумала Иоланта. — Какой глупостью показались бы ей самой все ее причитания!»

Завернув за угол, Иоланта увидела, что мать еще не спит — в кухне горел свет. Внезапно Иоланта остановилась под самым фонарем, достала из сумки зеркальце и принялась рассматривать свое лицо. Конечно, все это сказки, о чем шептались в раздевалке перед уроком физкультуры одноклассницы, — «сразу по глазам видно». По глазам Иоланты нельзя было увидеть ничего — они были такие же, как всегда.

И потянулись дни — такие же, как всегда. Утро начиналось с обычного материнского «видишь, опять встать не можешь, предупреждала тебя вчера...» или «это была бы не ты, если бы мне не надерзила...».

Иоланта ворчала, но заснуть уже не могла. Потом, между восемью и половиной девятого, они завтракали — выпивали свою чашку горького черного кофе, Иоланта время от времени бросала на мать предупреждающие взгляды, удерживающие ту от замечаний о том, зачем, мол, Иоланта голодает и черным кофе портит себе желудок. Наконец за матерью захлопывалась дверь, и Иоланта оставалась одна.

Она уже знала — того, что с многозначительной усмешкой называют «последствия», не произошло. Однако все чаще Иоланте хотелось схватиться за голову и заплакать: «Что я наделала!». Инт не приходил, несмотря на то, что между ними случилось, а может, именно поэтому. Так и тянулись дни, похожие друг на друга как близнецы. Все отчетливее она понимала, что казавшееся ей абсолютно невозможным становится единственно возможным. Что Инт, может быть, не придет больше никогда.

И вот однажды неизвестность стала невыносимой. Все началось с того, что Иоланта увидела себя в витрине, в которой отражалось и окно напротив, где тоже была видна ее голова и плечи. Слово обрательная картина. Она мгновенно вспомнила тот вечер, когда точно так же смотрела в окно. Но тогда она была не одна. Среди книжных полок журчал голосок Бируты, на сей раз в нем было больше лирики, чем осуждения. Причина была простой — Бируту ждал жених. Сдвинув худые лажки в ядовито-синих штанах, он примостился на стуле в углу читальни — так сидят только очень послушные охотничьи собаки. Но теперь он не казался Иоланте ни жалким, ни смешным. Какая бы ни была эта Бирута, она всего лишь бедная мать-одиночка, да еще и студентка, но она была счастливее Иоланты.

Гололед держался с прошлой ночи. Резкий северо-западный ветер гнал по небу клочья облаков. Иоланта усмехнулась про себя — погода соответствовала ее настроению. Подходящая погода для драматических событий. «А почему бы и нет?» — подумала она, замедляя шаг возле железнодорожного переезда. Да, шанс встретить Инта не велик — что ему делать в такую холодину в своей промозглой дощатой будке? «Если только, — подумала Иоланта, — не повез туда очередную девушку». И тут вдруг ее обуяла такая злость, что перехватило дыхание. Как посмел он так с ней поступить! Ладно бы, она этого Инта, этого Шпека с толстым задом любила без памяти! Но ведь она даже не любила Инта, просто больше не хотела оставаться одна, как какая-то забракованная. И теперь этот жалкий болван, получив свое, даже не вспоминает о ней!

Злость прошла так же неожиданно, как вспыхнула, осталось только чувство глубокой безнадежности. Она неудачница, никогда и ни в чем ей не везло. Даже этакий Инт, которого уж никак не назовешь девичьей мечтой, бросил Иоланту самым оскорбительным образом. «Ну, приеду я туда, — подумала Иоланта. — Что я ему скажу? Привет, вот и я, случайно шла мимо, решила зайти, рада познакомиться с твоей новой подружкой — так, что ли?» И все-таки она свернула к станции. «Я хочу с ним просто по-человечески поговорить», — смиряя гордость, сказала себе Иоланта.

Когда она сошла с поезда, все вокруг показалось ей таким чужим, что она вообще засомневалась, на той ли станции вышла... Сноп света, освещавший провода и кусок неба над ними, мчался все дальше и дальше, постепенно во тьме исчезли красные огни последнего вагона. Иоланта зашагала вдоль железнодорожной насыпи. Она хорошо запомнила, что где-то неподалеку должен начинаться асфальт, освещенная улица. Однако когда она вышла на асфальтированную улицу, снова засомневалась, туда ли она идет, куда в тот раз шли они с Интом вдвоем: теперь дорога казалась уже и конец ее исчезал во тьме. Прямо в лицо дул такой холодный ветер, что было трудно дышать. Вокруг шуршало, шумело, трещало.

Постепенно дорога забирала все правее, вскоре кончился асфальт, а магазина хозяйственных товаров все не было. Наверно, она все-таки заблудилась. Вероятнее всего, свернула слишком рано — значит, настоящая дорога левее и идет параллельно этой. И как бы подтверждая ее предположение, месяц, время от времени выныривавший из облаков, — казалось, подпрыгивает над ними, — осветил хорошо утопанную дорожку, которая скорее всего соединяла обе улицы; на тропинке там и сям белели замерзшие лужицы. «В крайнем случае по этой же тропке вернусь обратно», — успокоила себя Иоланта.

Уже метров через двадцать она увидела за кустами далекие огоньки. Но тут же заметила, что и тропинка почему-то круто сворачивает вправо. Наконец она поняла, в чем дело: ей преградила дорогу речка. Иоланту охватила бессильная злость; от разочарования и усталости глаза наполнились слезами. Насколько хватал глаз, ни на этом, ни на том берегу не было мостков или хотя бы переброшенных досок. Вероятно, те, кому приходилось переходить речку, от железнодорожной насыпи сворачивали на следующую улицу.

Но Иоланта не стала возвращаться, а из чувства упрямства решила спуститься вниз, на берег речушки. Под ногами шуршали листья, лед сверкал как темное гладкое стекло. Иоланта колебалась недолго. Потом сделала первый шаг — осторожный, медленный. Ничего не произошло. Потом второй, третий. И только когда она дошла уже почти до середины речушки, лед неожиданно хрустнул и из-под ног во все стороны побежали белые трещины. Иоланта застыла. Судя по крутым берегам, речушка, хоть и не особенно широкая, должна быть достаточно глубокой. Может, ее найдут только будущей весной. Как она тогда будет выглядеть — даже страшно себе представить. И все-таки: если бы у нее хватило смелости, уверенности, что все произойдет быстро и не очень мучительно... Но подумать она не успела. Все произошло так внезапно, что она даже не испугалась, только страшно удивилась, что вода подо льдом, оказывается, гораздо теплее, чем она себе представляла, можно даже сказать — совершенно нормальной температуры. Было мелко, чуть-чуть выше колен. Подняв пидол пальто, Иоланта побрела к берегу.

В эту минуту над облаками вновь появился месяц. Казалось, сверху он смотрит прямо на Иоланту — не сочувствуя и даже не осуждая, а скорее с веселым любопытством.

Перевела ЖАННА ЭЗИТ



ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

ВЕЛГА КРИЛЕ

В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ

Я здесь только на время.
Прибывает поезд, другой уходит, а мне ехать
некуда.
Сижу я на чемодане,
Где наклейки яркие, джунгли
и страус.
Душа моя вся — прощание.
Поднятая рука твоя застряла
в облаке.
Вокруг незнакомые голоса.
И кто-то уснул на лавке, свернувшись
как зверь.
А я не могу начать
Ни исповедь, ни молитву, ни симфонию,
ни жизнь.
Теснятся в мозгу слова,
Их вымолвить невозможно, в каждом
вероятности тайна.
Сижу я на чемодане,
Где наклейки яркие, джунгли
и страус,
И гляжу в расписание поездов,
Будто я провожающий для всех, для
всех уезжающих.

Перевод ЛЮДМИЛЫ АЗАРОВОЙ

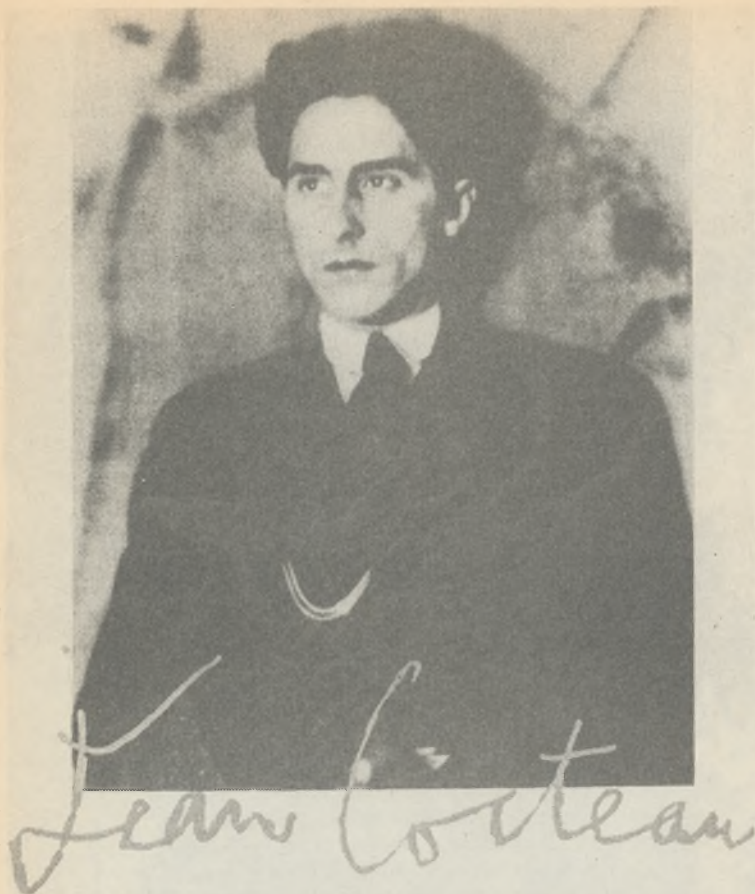
Говорить о любимых всегда неловко. Слова кажутся то слишком выпреченными и чуждыми, то слишком приземленными и общеупотребительными. И вот мне никак не удается сказать что-либо вразумительное о стихах Велги Криле.

Этой осенью я сидела на скамейке у вокзала с ее новой книгой в руках и пропускала одну электричку за другой. Надо было спешить — как всегда, но слишком сильно хотелось остаться подольше с этой книжкой. И тогда я поклялась себе, что напишу свое признание в любви к этим стихам. Правда, я не назначила точного срока исполнения, и жизнь впереди, возможно, еще долгая, и я сумею свою клятву сдержать.

К сожалению, с годами все труднее попасть в ту страну с прозрачным воздухом, наполненным запахом полнолуния, с цветущим дождем и грустноватым ветром. Там никого не заботит утонченность формы, и слова там свободны. Там радуются жизни и мечтают о ней, а прохожему человеку от этой радости и этих мечтаний почему-то перехватывает дыхание. В той стране живут американка Эмили Дикинсон, румынка Ана Бландиана, латышка Велга Криле.

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ





ЖАН

ПОЭТ ТРИДЦАТИ ЛЕТ

Теперь мне тридцать лет,
прошло почти полжизни.
Пора взглянуть, как жил,
и я полез на крышу,
И вижу с двух сторон
один и тот же вид:
Налево — юный май,
правей — декабрь лежит.

Земля красна от сил,
а виноград — от света,
Летит золотая лань
в листьях его густых;
С другой же стороны
белье полощет ветер,
Луга мои в снегах,
напрасных и слепых.

Я прошепчу в сердцах:
«Прости любовь поэта!»
Построю новый дом
из песен и стихов.
Хватило б только сил,
пока в разгаре лето;
Пока в зените жизнь,
хватило б лучших слов!

* * *

О мой безумный дом давно минувших дней,
О известь старых стен, что чище и нежней,
Чем молоко мадонн и вечных матерей,
Вскормивших грудью сыновей!

Мне больше не открыть податливую дверь.
Заприте же меня во дворике, в саду,
Невыносима жизнь, которой правит смерть.
Куда бреду в бреду? В беду!

На извести стены и я оставил след:
Пронзенные сердца — иероглифы любви.
Ее, быть может, нет, но эти стены есть,
И только потому я жив.

О мой безумный дом, о святость старых стен,
Моя неблагодарность, одиночество мое, о
Образы любви, которой нынче нет,
О извести святое молоко!

Я не могу уснуть, когда ночные тени,
Как гильотины нож, нависнут надо мной:
Я ведаю, что смерть придет без промедлений
Мне даровать покой.

Умру, ты будешь жить; и потому не спится:
И есть ли больший страх прихода твоего?
Спуститься в тишину, где даже не приснится
Стук сердца моего.

Что, робкий мой птенец? Как из гнезда родного,
Ты вылетишь из сна, а сон — из головы,
Чтоб родился опять уродец двухголовый
На новые гербы.

И дольше века ночь, но так нежданна радость;
И брезжащий рассвет надежду подает;
И падший на меня с небес рассветных ангел
Отложит мой уход.

Я просто невесом под этой тяжелой тенью,
Которая ко мне слепа, нема, глуха
До самого утра, и до и после пенья
Шального петуха.

Отрубленной главой она в миры помчится,
Где царствует закон совсем иных начал;
Приблизится ко мне и снова удалится,
Чтоб я не спал, не спал...

Ах! как бы я желал, храня твой след на горле,
Внезапно разомкнуть уста твои, что спят;
И грудью ощущать, как пынут сердца горны,
И смерть, как жизнь, вдыхать.

КОКТО

БОМБИТА

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.
И был одним из самых молодых
Торреро, пред которыми Удача
Дразня распахивала Славы веер,
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы,
С ногами крепкими и стройными, как мирты,
Упрятыми в золото и атлас.
Но Незнакомки руки протянулись
К нему и стали вдруг быка рогами,
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы...
И я таким же молодым когда-то,
В рыбацком городке Сен-Жан-де-Люз,
Бродил и волосы свои густые
Сплетал, как он, в косичку на затылке
И не носил фальшивых париков,
Какие ныне стариком ношу.
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.
Она носила черепаший гребень,
Мантилью белую и туфельки из кожи
Козла, а на макушке головы
Цветы жасмина, словно снег, белели,
Снег на вершинах неприступных скал;
Так только девушки Малаги могут
Украсить голову свою цветами.
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.
Они едва в лицо друг друга знали,
Но взгляды их уже не раз встречались,
И глаз его то закипал, как смоль,
То холодел, мутясь как бархат черный;
Он чувствовал, что рано или поздно
Она пришлет посланника немого,
И состоится странная помолвка,
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.
А страх упрямо подгибал колени,
И прядал бык огромными ушами,
Как будто что-то силился сказать,
Покрытый красным покрывалом Смерти,
Когда в него вонзалась сталь клинка,
И страшный круг смыкался для обоих.
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.
Они венчались, и не вспомнить вечер
И андалузскую дорогу ту,
Толпу танцоров позади квадриги,
Напоминавших рой звенящих ос;
Исчез ее измученный посланник,
Так хорошо сыгравший свою роль,
В спине неся букеты бандериллий,
Цветущих алой кровью красных роз.
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.
Я видел всех троих в нарядах брачных:
Быка, торреро и невесту Смерть;
Был беспощаден ритуал венчальный,
Как ни старался он его избежать;
Когда ж все было кончено, и сталь
Клинка была накрыта красной тканью,
И вместе с нею он, теперь навек...
Он стал возлюбленным Прекрасной Дамы.

Он стал возлюбленным Прекрасной Дамы.
О, почему же я не Федерико,
И нет чернил красноречивей крови,
Струящейся из уст смертельной раны,
Чертящих на песке привет прощальный
Развалинам дворца Хенералиф;
Все родники оплачут этот труп,
Оставленный его Прекрасной Дамой,
Уже тоскующей по новым жертвам,
Уж покоряющей сердца других...
Он был возлюбленным Прекрасной Дамы.

Переводы ВАДИМА ПЬЯНКОВА

НОВЫЙ ФУТБОЛ. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

То, что именно футбол был выбран в качестве основы для дальнейшей серьезной работы, обусловлено двумя вещами — некоторыми особенностями его так называемых классических правил и тем странным, всегда ощутимым, но совершенно неотрефлексированным энергетическим полем, присутствующим и ситуации матча вообще, и отдельным игровым эпизодам, и турнирным таблицам в газетах, и собственно номинативу. Правильнее, впрочем, сказать, что одной вещью, ибо кодекс и поле взаимопричины, перетекают друг в друга и никогда на самом деле нельзя знать ... к этим пропускам, к этим точкам, к лакунам отношение выбирается произвольно, что есть, в данном случае, скрытая форма диктатора, ибо основа существует и не может не давить, хотя, скажите на милость, каким образом можно давить снизу ... туту, придется предположить, что основа всегда наверху, что тоже неправда, но на правду уже где-то похоже ...

Шанс был дан давно (возможно, и сразу), но феномен футбола оставался неотрефлексированным по смешнейшей, в общем, причине: его люди — горластые юнцы с флагами и щекастые воблобуны на трибунах, кипящие ребята на площадке, умевшие сочетать цельность личности с полным непересечением ее векторов с какими бы то ни было интеллектуальными пластами, тайные онанисты из ФИФА, пархатые носатые газетчики, курящие сугубую гадость, — начисто были лишены способности к рефлексии (о потребности речи не идет) и отпугивали запахом пота тех, кто действительно мог и хотел работать. Нужно, впрочем, отдать футбольным людям должное: те драгоценные несурзности в правилах они оставили, будто бы чувствуя здесь какое-то истинное зерно, ничего в действительности, конечно, не чувствуя, а руководствуясь чисто бытовыми рядами (это же надо съезжаться, томить задницы креслами, голосовать, примирять Гондурас с Лихтенштейном ... последнее, может быть, самое важное — то есть политика (уникальнейший случай) сделала помешав им договориться, доброе дело. Ситуация раскрутилась допингом, тотализатором, мафией (договорные игры, подкуп арбитров и т. д.) — вместе со всем этим в футбол пришли деловые парни с «Честерфилдом» в зубах, с валютными профилями, с хваткой мертвецов — они-то и угладили живое и возможность что-то из него выжать.

Далее, собственно, журналистика: развалы клубов, суицид, драки на трибунах, вовремя ассоциированные с атмосферой рок-концертов ... такая ассоциация и была главным звеном в как бы цепи перехода к новому футболу, и ее, конечно, надо было отработать, что и сделали люди, впоследствии заточенные, расстрелянные или (каких много меньше) бежавшие на заслуженный отдых во фьорды. Представляема тамошняя их жизнь, норвежские ночи, смола, летучие мыши, плеск скал, вечный ужас от сознания того, что где-то во вполне реальном Там уже вовсю бесится выпущенный ими на волю джинн. К ним являлись шизофренические, липучие, липнувшие желания вогнать джинна обратно, чего,

конечно, было уже не сделать, да и не случилось еще человека, способного на два великих поступка. Почти все они кончили жизнь в лечебницах. Когда умер последний из них (это случилось на самом финише XX века), новый футбол как бы освободился от неосознанных, но навязчивых нитей, и отныне (и навсегда) его ничто не сдерживало. Понимая, что очень скоро все фиксированные мероприятия, все подкаты под эпоху, любые отдельностоящие приемы, любые конкретики будут вовсе невозможны, новые футболисты учинили прощальный ритуал (с факелами, с девками, со всеобщими принудительными медитациями) — второе тысячелетие было продлено на один год. Привязка пошлая, безвкусная, совсем уж напрямую соотнесенная (что не скрывалось, а напротив — провозглашалось) с тем самым гениальным пунктом старинных правил, по которому судья давал финальный свисток по своему усмотрению, продлевая время игры до сколько угодно (формально — компенсируя якобы возникавшие в процессе игры якобы паузы).

Паузы были канонизированы, возведены в абсолют и провозглашены одной из двух высших целей нового футбола, то есть игра шла именно ради пауз, а идеалом соответственно считалась вечная пауза, и было даже несколько ретивых голов, предусматривающих скорое наступление таковой. Этот идеал вступал в сладчайшее совокупление со вторым, обусловленным второй высшей целью, прямо противоположной первой, но, в отличие от нее, не оформленной хоть сколько-нибудь вербально или медитативно. Противоположность целей была актом милосердия, временной уступкой ущербной части социума, не сумевшей усвоить непредвзятость нового футбола. Этим духовным калекам нужны были машины, сигналы, березняки, домино, астральные ванны и прочий бред собачий и чепуха, что и обеспечившись противоположностью высших целей, породившей противоположность политических партий, социальных систем, полушарий мозга и т. д. и т. п. В борьбе за власть партии могли ориентироваться только на тот инвалидный слой, ибо здоровое общество от участия в политике устранилось. А купить этот слой можно было лишь сигналами, машинами и березняками, что партии и делали, обещая в случае прихода к власти издавать сигналы поблаговзвучнее, машины побезопаснее и березняки покруче. Расхождение в программах возникло на уровне отношения к машинам: то есть одна часть инвалидного слоя ратовала за безопасность, а другая как раз за опасность, и в итоге вопрос решался узким, стремящимся к минимуму кругом лиц, для которых эта проблема еще стояла. Именно этот круг и отвел общество под убийства, поджоги, развраты, эпидемии и прочие неудобства — чтобы всегда иметь в заглавнике пример, как не надо жить. В процессе игры в футбол такие подробности забывались, а вероятность черного дня допускалась-таки. Более того — она прямо-таки прослеживалась: черный день мог грянуть, когда круг обеспокоенных опасностью / безопасностью машин сузился бы до одного человека, который автоматически стал бы

диктатором и развернул социум обратно к старому футболу...

Первой в ряду основных категорий игры числилась так называемая «литота арбитра»: то есть всякий вступающий в игру осуществляет контроль за своими действиями именно на основании индивидуальной литоты; литоты очень различны по цвету, вкусу, запаху, по содержанию холестерина, но схожи в одном — в отсутствии оснований контроля за саморазвитием. Ясно (опущен ряд физиологических обоснований), степень отсутствия оснований может быть очень разной: минимум — их как бы нет, максимум — их как бы совсем нет (недавно появились сведения, что Стаффорд со товарищи разрабатывает случай «нет впрочем», результат пока неизвестен). Минимум отнюдь не лучше максимума, может быть и наоборот — в зависимости, во-первых, от inferнальности ситуации (смотря как ограничен сектор, откуда...), а во-вторых — лучше и хуже просто не считается, являясь недосовокупленной игрою слов. Позднейшие исследователи (формальная школа Матье и Степанова) сводят все это к мифологии — к якобы каким-то «отодвиганиям» ряда игроков на некое оговоренное расстояние для оптимизации непосредственно следующего хода; юмор в том, что конкретный ряд выдал оптимизацию в гробу, как бы противостоит ей, весьма неопределенно утверждая при этом необходимость противостояния. Тут же упоминаются и вовсе никуда нелезущие «карточки», немедитируемые вовсе, что не мешает им выступать в качестве одной из основных категорий.

Категория карточек, являясь чистым археологизмом, не исключается из кодекса по причине мало ли что. По этой же теме существует несколько работ, но они фрагментарны, друг с другом никак не соотнесены и вовсе не опубликованы. Результаты, однако, вошли в игру, и хотя их никто всерьез не воспринимает, но все имеют в виду — что-то вроде ножик с левой стороны тарелки и т. д. и т. п. настораживающие штуки. Все они, безусловно, уважаемы, передаются от поколения к поколению где-то на уровне бывших душевых коммат, ибо ни на каком другом уровне передачи быть не могут. Верников, правда, проводил какие-то опыты на предмет внедрения в именную систему, после чего состоялся знаменитый ливерпульский потуг и соответствующее изгнание Верникова в березняковый слой, с зеленым, впрочем, билетом.

Следующая важная категория — «минус один» — геннально зафиксирована в материалах второго съезда (самых материалов достать невозможно, но вполне возможно достать мемуары Вулфса): «Каждый игрок имеет право и обязанность быть тотальнофункциональным тогда и только тогда, когда самостоятельно определил одну и только одну функцию, выпадающую из его образа времени, места и действия». Категория «минус один» — наиболее, пожалуй, работающая — суть возможность появления функций, исторически спроецированных от функций аута, штрафной площадки, пипетки, либеро и т. д. — в какой-то момент неожиданно свободна от любого ирреального наполнения, что автоматически изрыгает реальную возможность прорыва к паузе. Другое дело, что возможность эта никогда не реализуется, но факта ее мимолетного существования достаточно для усиления уровня анального магнетизма той или иной части игроков, в связи с чем они как-то сиюминутно заприходованы и имеют право (=обязанность) передоверить кому угодно право (=обязанность) начать с центра. Понятие центра очень убедительно отрефлексировано в сожженной монографии Петреску и в некоторых негритянских текстах, потому можно ограничиться отсылкой, который несколько затруднен бривантностью известных постановлений, но совсем никаких смыслов не нести в себе просто не может.

Наибольшие споры вызывает категория «кайфа», которого явно нет (и, с большой вероятностью, никогда

и не было), но категория существовать будто обязана и никуда не исчезает, несмотря на неоднократные попытки зубочисточных нивелировок, исходивших, по обыкновению, из Юго-Восточной Азии. Вступить в спор значило бы излишне усомниться в достоверности произнесенного или же в недостоверности произнесенного.

Безусловно принципиальна категория «перехода», как бы противопоставленная категории «минус один», хотя характер этого противопоставления толком не изучен.....

..... много гипотез, от серьезных работ профессора Хары, где речь идет о некоем свойстве памяти материи, предполагающем полярный эффект при отсутствии молекул до анекдотических текстов, на полном серьезе доказывающих соотнесенность этого противостояния якобы бытовавшему когда-то противостоянию в процессе игры организованных по половому признаку групп людей. Неразрешенность проблемы не мешает категории функционировать, а иногда и помогает — зарегистрированы гуманные ситуации синусоидального смещения коробков (Мышкин ввел термин «сенсация» и предложил считать означенные ситуации точками возможного перехода к грядущему микрофутболу). Категория «перехода», при всей своей сложности, держится на банальном несоответствии уровней игры: факт перехода вертолета на новый уровень вовсе не означает его отсутствия на прежнем уровне, что очень злит «младопазушников» (все сплошь евреи, кроме Иванова и Когана), а более серьезных людей заставляет смотреть на новый футбол с пирамидальных точек зрения.

И, наконец, категория «перерыва» (не путать с «паузой»!), имеющая как бы в отличие от всех остальных как бы безусловную мифологическую привязку. Она основана на соотнесенности двух реалий XX века — якобы девятидесятиминутной продолжительности игры, структурированной по методу ленты Мебиуса и якобы поделенной при этом на два равновеликих отрезка, между которыми самое главное и происходило, и якобы девятидесятиминутного звучания гипотетической магнитофонной кассеты, которая характеризовалась ярко выраженной необходимостью переворачивания. Соотнесенность эта была осознана в конце восьмидесятых годов, когда практически одновременно в одном журнале прозвучали слова о том, что «энергетика каким-то странным образом на магнитофонную ленту записывается», а в другом журнале о том, что «пора, наконец, сказать, что в футболе важны не голы, не очки, не мундьялы, а аура матча». И очень скоро, и тоже практически одновременно, была создана философия момента переворачивания кассеты и философия ауры матча — первая серьезная философия футбола, с которой, собственно, и.....

.....

Все указанные категории, а также категории, не указанные в силу их по каким-либо причинам отсутствия, с разной степенью тотальности отрефлексированы в соответствующих текстах и сведены к кодексу непосредственных рекомендаций, какие не могут быть адекватно воспроизведены по причинам вполне адекватным. Из основных же категорий следует упомянуть еще категорию «остатка», причем упомянуть именно здесь, а не где-нибудь, ибо она именно здесь, а не где-нибудь появляется, то есть появляется она как раз на пересечении векторов конкретных рекомендаций. В ряду многих проблем, возникающих при рассмотрении этой категории, возникает и проблема непродрапированной профанации, каковые (профанация и проблема) начинают воспроизводить некий индивидуальный оптимализм, не способный пока найти реальной материализации и сочувствия со стороны заинтересованных лиц.

Роберт Крили, известный американский поэт, родился в Арлингтоне, штат Массачусетс, в 1926 году. В 1954 году он начинает преподавать в «Блэк Маунтин Коллидж». Несколько позднее становится редактором журнала «Блэк Маунтин Ревью» и вместе с Чарльзом Олсоном «возглавляет» одно из примечательных в истории американской литературы поэтических движений. Невзирая на некоторую историческую отдаленность от мировидений 80-х, проблемы, прямо или косвенно затронутые в творчестве Роберта Крили, позволяют современному американскому поэтическому авангарду считать его присутствием «естественным и необходимым, как воздух, которым мы дышим» (Джон Эшбери).

В настоящее время Роберт Крили является профессором Нью-Йоркского государственного университета в Буффало. Стихи, переводы которых предлагаются ниже, взяты из книг различных лет.

Осенью 1988 года Роберт Крили посетил Ленинград, где состоялся его творческий вечер.

РОБЕРТ КРИЛИ

Вещи продолжают себя, однако мое ощущение заключается в том, что я, в лучшем случае, поставлен лишь перед этим фактом. Я не вижу прогресса ни во времени, ни в чем-либо другом. Так что это и есть то, что я ощущаю в мире, — единственное, что я могу знать о себе в это мгновение. Иначе я никогда не узнаю себя.

Намерения суть возможности ощущения мига возможного. Как могу полагать я, что оно должно воплотиться в той или иной материи? Я пытаюсь сказать, что то, что я думаю, не помогает мне, однако настаивает на серьезности, которая является смыслом моей природы, смыслом, который мне хотелось бы почитать.

Слова не скажут большего, нежели их воздействие. А в мои намерения не входит понимать больше того, чем то, что они говорят.

Роберт Крили — Из книги «СЛОВА»

ОТВЕТ

Заговорим ли друг с другом,
понуждая клониться траву, как
если бы
гнали мы ветер,

будет ли путь наш прекрасен и
изначален, словно движение вещей, —
движутся так невесомо...

Мы разбиваем их вдребезги,
стенам подобно, себя разбиваем
о слух,
чтобы слышать, как опадают осколки,
лишь только слышать.

МЕРА

Ни вперед,
ни назад
не двинуться.
Пойман

мерой
во времени.
То, что мы думаем
о том, что придумали —

не существует другой причины.
Мы думаем для того,
чтобы думать,
каждый для себя самого.

ЖЕНА

Я знаю двух женщин
одна из них
осязается в существе
во плоти и крови.

Другая в уме
не утрачивает
реальных пропорций.

Но как с ними двумя
в постели моей
вообразить свою жизнь —

Или же, как ему,
тому, кто женат,
Сводить обеих к одной,
Глядя, как умирает другая.

ПЕСНЯ

Текут к морю из того края
все эти реки. Ветер
ищет деревья, чтобы их сотрясти
и снова уходит.

Но я, я почему
в любой день могу быть
возлюблен богатством
либо кануть в крах нищеты.

«Я не могу повлиять на погоду,
соединяя себя и другого —
остановить эти реки.

Или же рукой отвести
от дерева ветер,
разум от вещи,
любовь от нее и себя.

Однако, если живешь
оставайся естественным.
Мертвый, ты умираешь к этому
тоже, беря другой курс,
я надеюсь.

Но почему я
в любой день могу быть
возлюблен богатством
либо кануть в крах нищеты.

Ты, я — хотят вернуться ко мне
в жизни, данной нам здесь,
ожидая увидеть,
что из этого выйдет.

Зови, зови же погромче,
я услышу тебя, а если не я,
ветер услышит во имя деревьев.

ПОВОРОТ

Изгиб поворота
возможен любой,
чтобы понять:
сейчас она
здесь, но вот

ее нет, идет, однако
ушла ли она,
уходя,
прежде, чем лаз увидел

ничто. Дерево
не умеет ходить,
все движения его
должны говорить
о насилии.

Слушают скрежет пилы,
всхлипы корней. Даже,
когда едим сельдерей,
в нем слышим рыдание.

Но то, чего мы хотим,
вовсе не то, чего достигаем.
И то, что мы видим —
разве увидим опять?

Мы не увидим. В движении
будем мы двигаться
а потом остановка.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Чарльзу Олсону

Он ощущает, как мал он
в своем пробуждении,
однако в зеркале внезапной стремнины
омут темной воды
величину его созерцает
его же парой зрачков.

Здесь выше деревья,
не пересекаясь ни полем, ни просекой,
полагаясь на обтекаемый воздух
места, где заблудиться ему
довелось.

Я собирался сказать тебе,
когда прозвенел дверной колокольчик,
что то была другая история, если
я прав,
которая случилась до этого,

То было ощущение женщины,
чудес того утра, место все
то же, воздух белее сейчас и
крепкий ветер прохладой
сметает пернатых.

Из богов о мудрейший! Неисповедимы
силы твои и в блужданье достигнут
согласия, оглохнув падут
между видимым, зеленеющей зеленью
и отдаленьем в телефонном звонке.

Бог не кость в бесстрастном раздоре,
Бог не волосы и не воздух,
не заключающее заключение,
исцеляющее томление. Он движется
так,

как его двигаю я,
и так же ты движешься
к пробуждению

через постелей ряды, оцепеневших
в удушье.
Спотыкаясь и ковыляя, движешься,
во всем подобен всем людям,
потому что ты должен.

ОКНО

Позиция там, где ты положишь
ей быть, где она есть,
например,

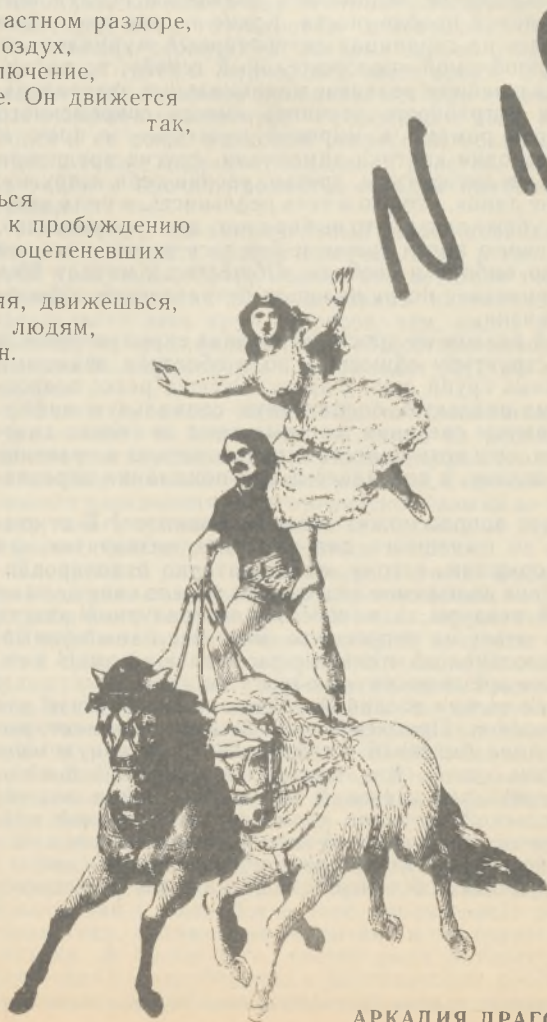
этот огромный серебристый
газгольдер
рядом с белеющей церковью
воспел ли ты —

все это, с какой же целью?
Как тяжел
медленный мир вместе со всем,
что в нем нашло свое место.

Кто-то проходит,
машина возле него
на уходящей дороге,

желтеющий лист
уходит к паденью. Все
совпадает
со своими местами. Лицо

мое тяжело глазами.
Могу ощутить, как разбивается
взгляд.



ЛЕВ ГУДКОВ, БОРИС ДУБИН

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

ПОПЫТКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ



Со страниц прессы нередко звучит теперь сожаление о том, что среди многих вещей, отсутствие которых как-то «внезапно» обнаружилось, нет у нас и надежных данных о чтении, отсутствует социология литературы.

Все вроде бы так — и не совсем. Разве критика и школа десятилетиями не учили, кого мы в первую очередь должны были читать? И разве со столь же высокой степенью определенности не было известно учителям, библиотекарям, книготорговцам, кого реально читают и хотят читать обычные читатели? Или не было все эти годы черного рынка, отделов книгообмена, толп в больших книжных магазинах, ожидающих вывоза к прилавкам дефицитной книги? И, наконец, разве четверть века читателей в библиотеках, дома, в магазине и на работе не спрашивали, что они читают и хотят прочесть?

Конечно, все это было. Так почему же сегодня опять задаются подобными вопросами? Не потому ли, что никто всерьез не интересовался своими партнерами? Читатель не обращал внимания на критику (за нею хоть как-то следило менее 1% публики), а критики и издатели в подавляющем большинстве занимались взаимным обслуживанием и имитацией проблемности. Какие только дискуссии не разгорались на страницах литературных журналов: то становится проблемой «положительный герой», то планировалось «дальнейшее развитие национальных литератур», то возникла потребность уточнить «место современного отечественного романа в мировой культуре» и проч. и проч. Вот так одни критики замолчали, другие предпочли уйти в историю литературы, третьи, уверив себя и других, что «киного не дано», что это и есть реальность, а сила важнее правды, убеждали, будто выбора нет, да и не нужно его, тем самым своею волей сужая и без того незначительное пространство выбора и свободы. Общество к началу 80-х годов все приметнее погружалось в безразличное отбывание срока жизни.

Нынешний разлом не просто обрисовал скрытую прежде групповую структуру общества, но и обострил взаимный интерес разных групп друг к другу. Отсюда резко возросший спрос на реальную, оперативную социальную информацию, надежные сведения, которые дают не только диагноз ситуации, но и возможность использовать их в практике совместной жизни, в том числе и для понимания перспектив.

Чем на этот вопрос может ответить социолог? В открытую печать до нынешнего дня попадала незначительная толика информации, к тому же достаточно отполированная: служебное положение социологии делало свое дело не хуже любой цензуры, а монополия литературной власти предreshала ответ на вопрос, кто же у нас самый-самый. Архивы свои социологи чтения не раскрывают и лишь в самое последнее время рискнули о них упомянуть.

Но дело не только в слабой информационной базе для вынесения оценок. Проблема — в системе координат, которая позволила бы увязать собранный материал, осмыслить его. Речь идет о том, как сцеплены в нынешней — сложной, переходной и еще не полностью определившейся — читательской ситуации характер литературной власти, организация литературной жизни, состояние книжного «предложения» и структура читательских «запросов».

Начать придется с обстоятельств вчерашних, и по одному

простому резону: самые читаемые сегодня книги и авторы — книги и авторы вчерашнего, а нередко и позавчерашнего дня.

Но тогда из чего же складывается бесспорное ощущение новизны в литературе? И кто чувствует эту новизну? В чем именно видит новое?

Проще всего сказать, что круг авторов, привлекающих самый острый интерес читателей, за последние два-три года решительно изменился. По опросам последних месяцев, проведенным разными социологическими группами, фокус читательского внимания переместился в область журнальной прозы. И самыми значительными здесь читатели считают ранее не публиковавшиеся произведения от А. Платонова до А. Битова и Л. Петрушевской, литературу русского зарубежья от В. Набокова до Саши Соколова и документалистику (публицистические статьи и очерки по истории, экономике, политике, праву, воспоминания и собственно документы). Приведем результаты февральского анкетирования 200 с лишним тысяч подписчиков «Литературной газеты», представляющих все регионы страны и все социально-демографические и профессиональные группы населения (в порядке убывания):

А. Рыбаков, В. Гроссман, В. Дудинцев, Б. Пастернак, А. Жигулин, А. Платонов, М. Булгаков, В. Селюнин (статьи в «Новом мире»), А. Приставкин, Н. Шмелев (статьи в «Новом мире»), Ю. Домбровский, Ю. Щекочихин, В. Пикуль, В. Войнович, Л. Разгон, Д. Гранин, Б. Васильев (серия статей в «Известиях»), Е. Лосото, В. Короленко (письма к Луначарскому), Ф. Бурлацкий, А. Ваксберг (сборник статей «Иного не дано»), Н. Амосов, А. Ципко, А. Нуйкин, Е. Евтушенко («Притерпелость» в «ЛГ»), Н. Карамзин, Д. Волкогонов, В. Шаламов, Е. Замятин, Ю. Шербак и так далее, и так далее — примерно 100 авторских имен и названий произведений, собравших более 50 упоминаний каждое.

Из вошедших в список имен и произведений 94% не могли быть изданы еще несколько лет назад. Причем среди них собственно зарубежных авторов и книг почти нет: исключения — Библия, «Слепая тьма» А. Кестлера, «Замок» Ф. Кафки, «Полет над гнездом кукушки» Кена Кизи.

Наиболее значимый массив самой популярной литературы сегодня — оперативная отечественная публицистика (и близкая к ней социально-критическая литература), а также, условно говоря, литературное наследие репрессированной русской словесности. А здесь, как показывает недавнее исследование Института книги, открывается длинный ряд только еще начавших упоминаться имен — от А. Солженицына и И. Бродского до А. Зиновьева и А. Некрича.

Разумеется, требовательные и внимательные читатели не упустили из виду и новые, появившиеся в последние два-три года имена — Т. Толстой и С. Каледина, В. Пьецуха, Евг. Попова и многие другие. Но их часть в литературном потоке не превышает той мизерной доли, которая у нас вообще падает на литературу молодых. Устранив жесткие фильтры издательства, можно, конечно, увеличить выпуск этой экспериментальной словесности, но она не становится сразу же предметом массового читательского интереса и спроса. В этом смысле не она делает «основную» сегодняшнюю погоду.

Вместе с тем не определяют ее теперь и недавние корифеи, так сказать, общегосударственной популярности, те, кого поддерживал аппарат ведомств по культуре, литературе, идеологии. Разговор о них нужен особый, поскольку это значимая и живая пока часть нашей общей истории. Ограничимся беглым эскизом и отметим, что ни Ю. Бонда-

рева или П. Проскурина, ни А. Чаковского или М. Алексеева, тем более Г. Маркова или А. Софронова среди своих избранных читателей не числят. А вот о проблемах наследия, которое стало одной из движущих сил литературного обновления, поговорить бы хотелось подробнее. В каких условиях и на каком фоне это наследие создавалось? Кем сохранено? Для кого оказалось сегодня актуальным? И что все это, казалось бы, внутрилитературные процессы дают для понимания нашего общества, его истории, нынешнего дня и перспектив?

Победители 70-х: литература на гидропонике

Но сначала — о фоне процессов обновления, о властях народных дум начала 70-х — начала 80-х годов. Имена этих Великих Писателей Земли Русской (сокр. — ВПЗРов) по отдельности уже обнародовались, хотя, надо заметить, с непростительным запозданием.

В начале 1989 года «Книжное обозрение» назвало писателей периода цветения болота, времени застоя. Именно тогда принимали свои первые общегосударственные премиальные знаки отличия М. Алексеев (1976), Г. Марков (1976), Ю. Бондарев (1977), А. Чаковский (1978), П. Проскурин (1979), Ан. Иванов (Гос. премия СССР — 1979, премия КГБ — 1983), И. Акулов (1980) и т. д. Рассмотрим их вместе как реально действующую группу авторов, объединенных по нескольким признакам.

Они наиболее издаваемые, и тут с ними сопоставимы лишь самые авторитетные русские классики («Школьная библиотека», «Классики и современники», безлимитная подписка) да зарубежная экзотическая героика для юношества типа Дж. Лондона, А. Дюма или Джованьоли (в изобилии тиражируемая «макулатурной» серией);

они занимают ведущие позиции в иерархии литературной власти. Им принадлежат руководящие должности в корпусе ведомственной писательской бюрократии и немалые посты в государственно-административной системе; они контролируют ряд толстых литературно-художественных журналов, а также связаны по аппаратной и представительской линиям с другими ведомственными верхами;

их роднит образ воссозданного в их произведениях мира, точнее — та точка зрения командных высот, с которой обозревают их протагонисты стройную («несмотря на...») целостность отечественной истории последних шести десятилетий, а нередко и шести столетий (или даже — тысячелетий). И, наконец, сами дежурные приемы построения этого внушительного эпического монолита постоянно переключиваются из одного нетленного трехтомного труда в другой.

Все эти объединяющие признаки не случайны. Рутинеры по самому своему назначению и экстремисты в отношении всего, что выходит за пределы общепринятого повторения, лидеры чтения 70-х годов могли такими стать, только объединившись и употребив власть.

Современники помнят, а более молодые могут сегодня и прочесть о том, как чисто социальными способами — оговором перед властью держащими, оттеснением от читателя, разного рода санкциями они вытесняли из области печати всех, кто мог им противостоять, составлять конкуренцию, задавать иной масштаб оценки и происходящего их творчества. В результате ведущие представители литературы 60-х годов оказались вне литературы — за рубежом, «в столе», в «смежных жанрах» (истории литературы, исторической романистике, переводах и т. п.), их почти не печатали. Осколки их поэтики были собраны и склеены победившими эпигонами для собственных нужд. Так оказались соединены достижения родоначальников военной и деревенской прозы — той первой поросли социально-критической литературы, которая пробилась в краткий период оттепели. Эти находки были затем «облагорожены» реликтами частично возрожденного к тому времени «серебряного века» (от Бунина до Булгакова) и эпически-толстовской перспективой в бесконечном ее отражении у (эпигонов же!) Фадеева и Шолохова, Леонова и Симонова. Опираясь же на прямую государственную социальную власть и поддержку сопредельных ведомств (от владеющего ресурсами Госкомиздата до распределяющего премии КГБ), они получили и остальное: весомый статус эталонных носителей успеха, самую широкую на тот момент читательскую аудиторию, весьма значимое для нее подкрепление в виде тоже регулярно премируемых телеэкранизаций и каналы массового тиражирования и переиздания (например, «Ро-

ман-газету», являющуюся благодаря ее гигантским тиражам трамплином в самую массовую среду читателей). Только полностью оккупировав территорию литературы во всех ее значимых «высотах», они могли удерживать свое влияние непрерывных 10—15 лет.

Сегодняшние выступления критиков и публицистов «Нашего современника», «Молодой гвардии», «Москвы», «Литературной России», точно такие же по тону и манере, что и в 70-х годах, когда они выступали против новомировской линии в литературной политике, производят совсем другое впечатление. Это озлобленные, но беспомощные, довольно неуклюже инсценированные — в манере киноэпопеи «Освобождение» — мелодраматические бои за кресла в секретариате Союза писателей. Уходя с социальной авансцены, они оставляют серию вопросов на будущее, которые, хотим подчеркнуть, стоит принять всерьез.

Как могло случиться, что эта ничтожная группа творцов бутафорской, синтетической словесности сумела на полтора десятка лет заместить для широкого читателя едва ли не все сколько-нибудь существенное в мире литературы? Какие ценности, образы мира и человека, представления о нормальном и должном несла с собой эта фантомная, тривиальная литература? Насколько и как широко вошла она в сознание читателей? И, наконец, что же «победителям» противостояло?

«Гетто избранничества»: структура и тематика самиздата

Непримиримо, целиком и полностью — прежде всего так называемый самиздат. Само это слово устойчиво связывается в массовом сознании, сформированном систематическими кампаниями брежневской прессы, с политическими сочинениями «диссидентов». В символическом плане это абсолютно верно, так как именно в этих группах противостояние сталинско-брежневскому репрессивному режиму, пусть одряхлевшему и не такому жестокому, как в 30—40-е годы, было наиболее выговоренным и последовательным. Здесь впервые в нашей стране сформулированы принципы правового государства, демократии, открытости и плюрализма, терпимости, которые заново открываются на страницах газет и журналов в наше время. Именно здесь открыто обсуждались проблемы истории страны, ее узловых судьбинных моментов — революции, нэпа, коллективизации и ее цены, массовых репрессий, монополии господства, а также вопросы разделения властей, экологической ситуации и прочие предметы, сегодня наиболее дискуссионные.

Но вместе с тем внимательный разбор позволяет обнаружить в самиздате практически все виды и типы издательской продукции, почти полное соответствие тому, что находило выражение в официальном книгоиздании. Здесь представлен весь круг вопросов, тем, видов литературы, на которую предъявляло спрос общество и которую не в состоянии был обеспечить Госкомиздат. Что же здесь обращалось?

Начнем с самого «безобидного»: хоббистская литература — книги о животных, об уходе за ребенком, сыроедении и иглоукалывании, правилах хорошего тона, сексологическая и медицинская литература, самоучители самого разного назначения — от английского языка до самбо и каратэ; книги о том, как добиться успеха и держать себя в форме, фантастика, детективы и проч.

Следующий пласт литературы, активно функционирующий по каналам межличностных отношений, — словесность «серебряного века» и 20—30-х годов, представляющая собой перепечатки со старых изданий, ксероксы тамиздата: Осип Мандельштам и мемуары Надежды Яковлевны Мандельштам, Ахматова, Платонов, Кузмин, Гумилев, Ходасевич, Булгаков, Замятин, Пильняк и многие другие. Затем — современная литература, не получившая доступа на страницы журналов: Г. Владимов и В. Войнович, А. Солженицын и В. Гроссман, А. Зиновьев и Ю. Алешковский, Л. Чуковский и А. Кестлер, И. Бродский и А. Битов, авторы «Метрополя»...

Разумеется, эта литература не была изолированной, а шла в контексте, в сопровождении мемуарной, историко-документальной и очерковой прозы, а также в дополнении, осмыслении и разработке (что характерно!) зарубежной славистики, социальной аналитики и эмигрантской публицистики. А кроме того, такого рода литература плавно переходила в зарубежную и эмигрантскую русскоязычную (и только русскоязычную!) периодику, печатавшую, то

есть воспроизводившую уже в печатной форме, машинопись самиздата. Как и всякая периодика, она дополняла и комментировала, сопровождая актуальной критикой и аналитикой, то, что публиковалось здесь же в разделах прозы и поэзии (в самиздате ни критики, ни полемики как таковой не было).

Позже, после третьей волны эмиграции, пошла молодая проза московских и ленинградских писателей, ставших известными уже после отъезда, — С. Соколова, Э. Лимонова, В. Марамзина, С. Довлатова, Б. Хазанова, Ю. Мамлеева и т. д.

Можно также назвать очень важный, внутренне чрезвычайно разнородный и многообразный тематический раздел — религиозную литературу. То, что здесь читалось, осмыслялось и людьми изначально верующими, и крестившимися сравнительно недавно (уже в 70—80-е годы, так называемыми «новыми христианами»), и неверующими или равнодушными к вопросам теологии, но ищущими ответы на этические вопросы, было крайне пестро по составу: здесь рукописные молитвенники или псалтыри, синодальные библии, христианская теологическая литература самого широкого профиля — от антропологической до патристической, начиная с проповедей и житий и кончая социально-ориентированной религиозной публицистикой, вроде «Вестника РХСД» и изданий ИМКА-Пресс, например, сочинений митрополита Антония. Освещались не только вопросы церковной жизни и недавней ее истории, гонений и репрессий — воспроизводились основные идеи русских религиозных мыслителей, отчасти даже выходящих за рамки ортодоксального православия (не только, скажем, Г. Якунина или Д. Дудко, но и П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова и других). Помимо православной, обращалась и еврейская, и католическая литература, сочинения мистиков и визионеров.

Сказав о религиозной книге, мы должны назвать и весь массив произведений по русской философии — от В. Зеньковского или Л. Карсавина до Л. Шестова и «веховцев», В. Соловьева, Н. Федорова и других, начавших появляться в журнальной форме или планируемых к изданию лишь в самое последнее время. Заметим также, что одно лишь обещание издать их нормальной высокой печатью (в качестве приложения к журналу «Вопросы философии») немедленно в три с лишним раза подняло тираж последнего, год за годом перед тем терявшего читателей и подписчиков. (Хотя от обещаний до их реализации дело, видимо, дойдет еще не скоро.)

Фактически так или иначе в самиздат проникали в отрывках или в виде отдельных сочинений работы всех направлений современной мысли — от К. Поппера и «новых философов» до неомистов или комментаторов дзен-буддизма. Кое-что из этого предполагает выпустить в ближайшее время «Прогресс».

Идя дальше по нашему «музею самиздата», оставим в стороне эзотику (любого рода — от высоких мировых образцов типа «Кама сутры» до самодельных переводов Г. Миллера и вульгарной порнографии), западный и восточный оккультизм, необозримое хранилище статей и книг об НЛО, йоге и т. п. — все то, что подлежало цензуре в печати и библиотеках или было по крайней мере «литературой ограниченного пользования», не выдававшейся в залы или выдававшейся «на ответственный» в залах спецхранов. Мы подошли к наиболее напряженной зоне — литературе социально-аналитической, исторической и критико-идеологической, закрытой даже в спецхранах, так сказать, общего пользования (хотя сейчас понемногу и здесь кое-что открывается). Речь не только о работах уничтоженных вождей революции, теперь постепенно реабилитируемых, а также идеологических противников коммунистов, но и о трудах по истории большевизма, репрессий, лагерей, гагантский массив документалистики, в которой открыто обсуждались вопросы истории страны фактически всех периодов: до революции, революции, коллективизации, войны, пятилеток — вплоть до самого последнего времени. Сюда входили работы всех тех, кто не вписывался в узкие рамки официальной печати, авторов самых разных мировоззрений и идеологических позиций — монархистов, марксистов, националистов, антисемитов, «спасителей России», ее беспощадных критиков, тех, кто пытался обнаружить исторические корни тоталитаризма, и тех, кого он уничтожал, и тех, кто стремился прозреть ее будущее. В них поднимались проблемы правопорядка и карательной медицины, экономики, принудительного труда, внутрипартийной борьбы, надвигающейся экологической ката-

строфы и деградации системы управления, национальных отношений и мафии, коррупции, школьного обучения и армии — короче, весь круг тем и вопросов, которые сегодня постепенно осознаются общественным мнением как самые неотложные. Именно эти издания квалифицировались как «антисоветские», а их читатели или авторы подвергались жесточайшим репрессиям.

Но уничтожить мысль, социальную тревогу и стремление к свободному, независимому мышлению и обмену информацией и идеями едва ли возможно. Репрессии последних двадцати лет (отсчитывая их, скажем, с дела И. Бродского и процесса Ю. Даниэля и А. Синявского) дали свое отражение и освещение — хронике правозащитного движения, литературу наиболее «криминальную» по последствиям для тех, кто ее создавал и читал.

Уже из беглого перечисления лишь тематики самиздата видно, что это не какая-то тенденциозная или крамольная литература, а целый мир, точнее, миры словесности, фактически воспроизводящие целый космос культуры, дополняющие или компенсирующие жестко контролируемое издательское дело и лимитированные фонды библиотечной сети. Здесь не только вся аналитика, социальное размышление над процессами общественного развития нашей страны, вытесненное из официального сознания и его институтов (что, заметим попутно, обернулось жесточайшей деградацией всех этих гуманитарных академических институтов, погрязших в догматизме, внутренних склоках и бесплодии — от философии и социологии до истории, искусствоведения и проч. и проч.). Здесь затрагивались все болевые точки, поднимались духовные, нравственные и правовые проблемы общества, вопросы смысла и этики существования, техники поведения, включая рационализацию быта: общество либо систематически восстанавливает всю свою духовную жизнь, либо впадает в беспамятство, внутреннюю агрессию, кому. Во втором случае начинают разрушаться, некротизироваться наиболее важные, фундаментальные структуры жизнедеятельности общества, его сознания, межпоколенческого кода культуры. Там же, где механизмы самосознания и передачи культуры (как в русской деревне Нечерноземья) полностью разрушены, процессы деградации в последние несколько лет разветвляются устремляющимися темпами. Это и опустошение, нарушение демографического равновесия и воспроизводства, и рост социальной патологии — преступности, пьянства, самоубийств, падение моральных основ и авторитетов, чувство глубочайшего унижения и безнадежности.

Но циркуляция самиздата, разумеется, носила крайне дифференцированный характер. Лишь некоторые из орбит частично пересекались. В большинстве случаев отдельные типы литературы обращались, читались и распространялись каждый в своей среде: там, где читали «Бухарина» С. Козна, редко можно было встретить руководство по хиромантии или сыроению; там, где обсуждали труды отцов церкви или Марка Аврелия, практически не встречались книги по каратэ и правилам хорошего тона.

Важнее другое: возникала иная структура организации культуры, фонда памяти. Здесь не появлялись механизмы селекции «лучшего», того, что позднее стало нормативным, эталонным составом культуры — классикой, поскольку были невозможны нормальные формы дискуссии, критики, экспертной оценки и т. п. В отличие от обычных каналов трансляции культуры, от упорядоченной интеллектуальной работы, здесь — в силу нарушений временной организации передачи образцов (произведений, авторов, идей и проч.), нерегулярности, случайности контактов, «встречи» с конкретным текстом — критический анализ и переработка, усвоение имели принципиально неиндивидуальный характер. Из-за невозможности систематического доступа к текстам в обращении сохранялись лишь групповые, коллективные стандарты оценок, мнений, нормы отношения к тем или иным событиям, явлениям, процессам. Нерегулярность обращения оборачивалась постоянным устным обсуждением и осмыслением материала, что создавало среду и почву для усвоения новых идей и представлений. Это сообщество участников «ночных разговоров на кухне» было принципиально открытым и терпимым к разного рода идеям и концепциям — критическим и творческим. Оно выступало столько же хранителем и истолкователем всей предшествующей отечественной и мировой культуры, сколько и ее продолжателем и создателем новой. По существу, это и был творческий, креативный потенциал страны — сфера независимого и свободного мышления, без которого, как известно, не бывает инноваций. Конечно, объем этих групп

в составе населения страны очень мал — 2—5 процентов, но роль их в жизнедеятельности общества трудно переоценить.

Однако подобные особенности культурной и интеллектуальной деятельности затрудняли или замедляли процесс рационализации среды социального и духовного существования.

Совершенно не случайны временные разрывы между первым появлением того или иного текста, произведения или имени и открытой публикацией его. История всей борьбы за доступ публики к сочинениям, например, М. Булгакова или А. Платонова могла бы быть обычной иллюстрацией этого положения вещей. Интервал, продолжительность которого колеблется от 10 до 20—30 лет (иногда и гораздо больше), описанный и понятый многими исследователями как «пауза» («культурный лаг»), выражает одну из особенностей русской культуры, ее централистского устройства. Не имея возможности подробнее обсуждать здесь ее формы, укажем только, что первичный слой интеллектуальной среды, слой — носитель культуры, способный оценить новацию и воспринять ее, крайне хрупок, тонок, быстро исчезает и легко уничтожается, с трудом и очень медленно восстанавливаясь. Нужно довольно большое время, чтобы эта группа — творцы или хранители наиболее сложного культурного слоя — собственными усилиями, без посредников и «руководителей» создала себе среду и почву последующего восприятия. Иными словами, элита сама возвращает и создает своих преемников и, только нарастив соответствующую плотность, может передать результаты своей работы дальше. Тогда и начинается уже в открытых формах процесс обычной трансляции образцов от группы к группе. Сегодня у нас нормальный темп и функционально-специализированный порядок такого транслирования в силу разрушительной работы прежнего, сталинско-брежневского, репрессивного и контролирующего аппарата еще затруднен. Нужны накопители культурного меда, которые имели бы возможность передать его другим.

«Пиковые» даты хронологии самиздата — 1957/58 годы — связаны с травлей Б. Пастернака и 1974-й — с высылкой А. Солженицына; посредине — процессы Бродского, Синявского — Даниэля и события в Чехословакии, начало правозащитного движения, хельсинкские комитеты. Основная проблемная и тематическая структура самиздата кристаллизовалась именно в эти годы. Параллельно, «под» нею, с более широкими кругами распространения, но вокруг того же инициативного ядра и тех же проблемно-тематических комплексов и зон существовала песенно-магнитофонная культура (Б. Окуджава и Ю. Ким, А. Галич и В. Высоцкий...). Календарь событий показал бы, как одно имя за другим, пласт за пластом культуры втягивались в сферу обостренного, жизненно важного внимания, вслушивания, продумывания и обсуждения. Становились значимы и переходили на «особое положение», на круги своя, в четыре стены малогабаритной квартиры, где, всегда временно, ютятся блуждающие семинары, вечера или чтения. Документировались, культурно означались и фиксировались как будто несуществующие (по крайней мере — для парадного, витринного сознания и идеологии) сферы или зоны реальности — быта, лагерей, деревни, армии, номенклатуры и т. п. Создавались, обсуждались и хранились произведения — пленки, тексты. Но главное — вырабатывалась и утверждалась сама позиция личности, отвечающей прежде всего перед собой, а не перед «дядей», формировалась точка зрения, побуждающая к умножению и разнообразию культурного материала, мнений, идей, к его постоянному анализу, упорядочению, конденсации и синтезу. То был естественный протест против внешнего насилия и демагогии, стремление к сохранению внутренней этической формы в застойном, разлагающемся, болотном существовании общества.

Но именно с 1974 года, с этих же временных отметок, началась активная жизнь будущих, в полную ширь развернувшихся Победителей в литературе. Если начинали они кто эпигонами первой волны «лейтенантской прозы» в 50-е годы, кто — на подхвате деревенских очерков и повестей в 60-е, то успеха и признания, общественного веса и тиражно-телевизионной поддержки, превратившей их функционирование в своеобразную систему массовых видео-печатных коммуникаций, они добились именно к середины 70-х годов.

Как раз в это время сложилась еще одна система тиражирования единообразных текстов массового чтения — «макулатурная серия», фактически санкционировавшая но-

вый распределительный режим литературной жизни книжной культуры. За 12—15 лет действия она задала режим чтения примерно 4—5 миллионам семей, втянув их в систематическое и регулярное потребление 8—10 книг в год. В особый канал подписки хиреющих библиотек выделялись тогда же и «Библиотечная серия». Так что наших ВПЗРов вполне можно было бы назвать героями талонно-дефицитарной эпохи, времени отрегулированного и ставшего систематическим недостатка.

Барьеры и уровни: формы существования в литературной культуре

Реальная литературная жизнь 70-х годов, тогдашняя читательская культура в ее эмпирической полноте была организована вокруг двух полюсов. Первый отмечал зону наименьшего разнообразия: здесь обращались несколько увесистых эпопей считанных литературных сановников, переиздаваемых к каждому празднику астрономическими по тем временам тиражами. Второй обозначал область, где на свой страх и риск создавали и хранили то, что сегодня понемногу, преодолевая раздражение авторов и приверженцев эпических полотен, переводится в открытое печатное существование, в нормальный режим потенциальной общедоступности. Это был совсем другой, сложный устроенный мир, особый канал приобщения к культуре. Узости круга авторов и читателей (а роли эти не так редко совпадали) соответствовал минимум экземпляров обращавшихся здесь произведений. Зато уж это компенсировалось максимальным разнообразием ходивших по рукам текстов. И чем уже был круг «своих», кому на основе полного доверия тексты передавались, тем шире оказывался репертуар авторов и названий, богаче спектр тем, мнений, образов, входивших в читательский кругозор.

Некоторые тексты охватывали всех, становясь как бы общим символом независимости. Таковы были книги Солженицына, вобравшие в себя голоса изувеченных и замученных. Его творчество преодолеvalo границы «второй», подпольной культуры, перекидывая мост к тем группам общества, которые самостоятельно тексты не вырабатывали, но тоже искали символы автономного существования, не удовлетворяясь пайковым рационам государственной массовой библиотеки. (Это могли быть, к примеру, двоемыслящие круги технической интеллигенции, немногочисленные группы сознательных рабочих, наиболее развитые школьники, пополнявшие «поколение дворников и сторожей».) Книги Солженицына выходили даже в сферу обмена, правда, полуполегалного: «Архипелаг ГУЛАГ» под кодовым названием «Таинственный остров» можно было приобрести и на провинциальных книжных толкучках.

Напротив, другие тексты, скажем, такие документы, как «Хроника текущих событий» или редкая в целом социальная аналитика типа работ А. Авторханова или Р. Конквеста, имели заведомо узкий круг обращения и распространялись на расстояние «вытянутой руки», только среди своих, самых близких. Здесь порог доверительности был максимально высоким. Похожим образом, в кружках друзей и ближайших знакомых, расходилась лирика непубликабельных поэтов — О. Седаковой или В. Кривулина, Е. Шварц или Д. Пригова; здесь наибольший радиус действия получали, пожалуй, вещи немногих уехавших, еще и поэтому доходившие через рукописи и печать (прежде всего И. Бродского).

Между двумя обозначенными полюсами — массово-масштабным и узко-групповым, миллионнотиражным и машинописным — в действительной читательской культуре, всегда — даже в самые глухие годы — многосоставной, располагался пестрый ряд промежуточных явлений. Друг от друга они отличались степенью доступности читателям, величиной объединяемого ими сообщества единомышленников — огрубленно говоря, наличием экземпляров, обращавшихся в публическую более или менее одновременно. Нескольким авторам или их отдельные книги балансировали на грани легальности, то и дело соскальзывая в «другую», внепечатную культуру (так было, скажем, с Ф. Искандером и А. Битовым в период «Метрополя»). Другие имена печатавшихся «со скрипом» объединяли интеллигенцию в целом, тогда как у наиболее узких и замкнутых групп авангарда могли вызывать даже отчуждение. Таковы были острокритические по отношению к официаль-

ной помпе и витринному благомыслию течения в тогдашней журнальной прозе, ряд явлений «негероической» драматургии, связанные с традициями «серебряного века» направления в лирике. В эту допускавшуюся, но не официализированную сферу входили, скажем, два поколения городской прозы (не считая вынужденных эмигрировать А. Кузнецова, А. Гладилина, В. Аксенова, близкого к ним Б. Балтера) — от Ю. Трифонова и Б. Окуджавы до Л. Петрушевской и В. Маканина, средняя волна «деревенской» прозы до второй половины 70-х, когда они надолго замолчали, а в поэзии — А. Тарковский, А. Кушнер, Д. Самойлов, Ю. Мориц и другие. При этом антипафосность позиций, повседневная некрасивость жизни в такого рода драматургии и прозе расценивались рутинной критикой как «приращение», а поиск экзистенциальных ориентиров в лирике — как «камерность». На грани между этой едва терпимой литературой и более официальной словесностью находились имена «бунтарей» 60-х, весьма значимые прежде, а теперь несколько отодвинутые славы на второй и третий план, хотя порой еще вспыхивавшие и в 70-е (Е. Евтушенко). Иные же из бывших соратников (как, скажем, Р. Рождественский) полностью адаптировались к секретарской словесности и были кооптированы бюрократическим синклитом. Дальше простирались ничейная земля массового чтения. Сюда входили практически лишенная авторских примет «историческая» экзотика (именем-символом здесь был В. Пикуль); остросюжетная проза (ее «крестным отцом» выступал Ю. Семенов); редкие журнальные бестселлеры года — приметы городской цивилизации эпохи массового образования (напомним «Универмаг» и «Змее-лова», «Таксопарк» и «Альгиста Данилова»); переводная проза для периферийной интеллигенции в «Иностранной литературе», монополизировавшей пять частей света (как периферийные журналы по-пиратски владели зарубежным детективом), и т. д. Переходы между разными уровнями читательской культуры (дистанция между официальным центром и позицией данного автора или группы) можно измерять по тому, насколько в их обиходе участвовали не контролируемые и не навязываемые из центра и сверху средства распространения — устные коммуникации, машинопись, сксерокс. Соотношение «высокой» и иной печати для романов А. Зиновьева и Г. Маркова складывалось по-разному.

Многие помнят и использовали эти организационные формы «другой жизни» литературы в 70-х: тамиздат, самиздат, малотиражные первоиздания, «серая» печать, устные межличностные каналы. Легко заметить сходство всего перечисленного с «архивом» как способом сохранения и передачи культуры. Но это и было архивом групп, вытесненных из общей для «всех», открытой, печатной жизни. Отсюда характерное сочетание разнообразия «документов» с интимностью, домашностью поведения тех, кто эти документы создавал, размножал, читал, — тех, чье существование было этим архивом объединено и осмыслено. Здесь можно, наверное, говорить о предельных, аварийных режимах бытия культуры, литературы, искусства. Сведенные — если брать самые крайние случаи — к непосредственной поддержке «своих», эти рукотворные издания должны были пережить безвременье официоза и убийственный гнет социальных обстоятельств, помочь выжить сообществу своих хранителей. Отсюда же, думается, и некоторые смысловые особенности этой, обращавшейся среди доверенных людей, литературы.

Подчеркнем тут лишь два, быть может, наиболее важных момента. «Вторую» словесность отличала предельная дистанция от окружающей действительности — будь то идеолого-критическая либо же альтернативно-утопическая. Точка пребывания и отсчета помещалась не здесь и не сейчас. Но тем самым эта литература достигала предельной способности спланировать близких вокруг отвоёванного пятка культурной территории. Тщательно собиралось все, что могло стать опорой в противостоянии нарастающей бессмыслице социального бытия. Сама современность входила в книги, и круг внимания их читателей существенно меньше, чем прошлое ближайших эпох — тридцатых — пятидесятых годов. Культурное «подполье» тех десятилетий, сохранившее связь с предшествующим «серебряным веком», — вот что было обетованной землей второй культуры, вот что донесли до нынешнего дня тогдашние хранители рукописей и старых книг (их историю еще только начинают восстанавливать). И это распадение времен здешних и иных — вместе с демонстративной отстраненностью антиутопий Оруэлла и Зиновьева — было крайне

существенно, усиливало консолидирующую роль «другой» литературы.

Показательно, что собственно критики, размечающей границы между литературой и не-литературой, в этой словесности не было: еще один знак, что она обращалась к своим и за их пределы, как правило, не выходила (если же выходила, то не в литературном качестве, а как документ). А это значит, что оценка ее во многом предreshалась заранее — самим каналом поступления, средой приобщенных, их кружковым образом жизни. И, стало быть, сама оценка далее не анализировалась; не выверялись и не обсуждались ее основания, процедура, степень достоверности, говоря короче — не разворачивалась вся та деятельность по отбору и толкованию, которая структурирует поток выходящей словесности, задает масштабы и временные границы, в которых те или иные тексты значимы. А это уже ставило под вопрос самое, вероятно, главное: кому и как передавать этот литературный и читательский багаж? Иными словами, как будут воссоздаваться во времени ценности, предопределяющие само противостояние двух культур, накапливаться и обобщаться опыт сопротивления?

Не было печати, не было критики, не было и собственно анализа. Он ведь либо существует в рамках специальной науки и гарантируется всей ее системой независимого поиска истины, либо — в более общем культурном смысле — становится надобен лишь при передаче опыта за естественные границы группы непосредственно близких, когда необходимо обсуждать условия перехода культурного достояния к другим, выявлять возникающие при этом потери и переосмысления, выделять устойчивые, «ядерные» и, напротив, более подвижные, «сменные» области накопленных знаний и сложившихся мнений. Все шло попросту так, как оно шло, пока опыт этот удерживался одним поколением, а источник его помещался вне пределов современности, сиюминутности. Литература назвалась «другой жизнью» и здешнему повседневному существованию противопоставлялась, вмешательство в него не предусматривая и ограничиваясь отрешенным, пусть и острокритическим, созерцанием.

Отсюда, кстати, и сравнительно скромная роль журналов в данной читательской среде. Пространственная и временная дистанция все больше разделяла, условно говоря, авторов от читателей. Даже и существовавшие как рупор групповых мнений периодические издания — от социально-радикального «Континента» до независимо-культурных «Синтаксиса» и «Третьей волны» — поступали крайне нерегулярно. Тем самым связь единомышленников, противостоящих другим таким же, единство одновременной аудитории какого-то своего журнала — разрывалась. А стало быть, делалась невозможной систематическая межгрупповая полемика. Предпочтения у той или иной группы, разумеется, были, но фактором движения литературы, двигателем литературной жизни, ферментом литературного процесса они не становились. Тамиздатский (и вообще зарубежный) журнал превращался в этих условиях в книгу или, точнее, в альманах, лишенный периодичности и регулярности. Номер его означал не отметку времени, а принадлежность к серии, собранию. Можно сказать, что и в данной сфере социального бытия и культурного общения время останавливалось. Хотя, в отличие от романов-эпопей и мира их читателей, время это было иным, поскольку другим персонажем и в других рамках отсчитывалось.

Эпическая надвременность и верховная точка обзора в лауреатской словесности означали незыблемость господствующей позиции, с которой без промедлений и препон, разом охватывалось монолитное целое. Основной задачей при этом становилось естественное, как бы природное воспроизводство всего социального и идеологического устройства именно в качестве монолита. В центре же «второй» литературы стоял индивид с его поисками осмысленных основ достойного существования. Его точка зрения задавалась бровкой окопа, высотой нар, ростом и кругозором испытываемого на прочность человека. Мерой опыта был вполне определенный «шаг» времени — поколение, общность таких же, как «я», прошедших один путь вместе и заодно. От этой отметки отсчитывались биографии, отсюда оценивались измены — переход на сторону «победителей», пропажа в тупиках саморазрушения, ампутация рефлексии и растворение в быту. И даже если герой попадал в обстоятельства тотального уничтожения, стирания в лагерную пыль, приведения к анонимному «номеру», даже в этих истребительных условиях опорой и началом координат понимания, точкой удержания опыта оставался

он — отдельный среди разных. А рамки опыта вмещали всю культуру, время, устроенное по образцу памяти — ее ведь и вознамерились уничтожить, ее и предстояло сохранить. Мир стягивался в этот фокус, как бы ни различались от автора к автору окраска жизни, ее атмосфера и строй. Это мог быть «роман образования», как у Домбровского или Битова. «Плутовской роман», как у Войновича или Искандера. Антиутопия, тоже выстроенная как роман образования, но навыворот, своего рода «роман раз-воспитания», «роман одичания», потери человеческого образа, — как у Вен. Ерофеева или А. Зиновьева. Так или иначе, жизнь собиралась воедино в индивиде, собирающем этим самого себя. Так роману, отметим, возвращалась его изначальная в европейской культуре биографическая мера, о катастрофической гибели которой писал в 1922 г. О. Мандельштам («Конец романа»). Но как раз эта непрерывная работа самоопределения и начинала пробуксовывать в изолированном пространстве «второй» культуры. Начинаясь как поиск себя, роман все острее свидетельствовал о невозможности становления — мир распадался, рассогласовывались стрелки часов, дурная бесконечность длащегося по инерции кошмара затягивала героев Битова и Зиновьева, Терца и Ерофеева.

«История прекращает течение свое...»

Обращение самиздата в столь тонком слое интеллектуальной среды имело ряд важнейших чисто социальных последствий. Оценить их раньше, еще пять лет назад, было бы крайне трудно по нескольким причинам. Во-первых, внимание людей «второй» культуры концентрировалось на самом факте получения знаний и впечатлений, их осмыслении, «безопасности» каналов получения информации и ее передачи. Во-вторых, такие вещи, как последствия чьего-то выбора или каких-то поступков для всего социального целого, вообще не могли приниматься во внимание в обществе остановившегося времени. Жизнь была как бы помещена в стекло, застыла в прозрачной неподвижности.

Какие же это были следствия?

1. Увеличивался разрыв между интеллектуальным и нравственным уровнем мыслящей элиты и прочим составом общества, оставшегося без органов самосознания, осмысления различных проблем — от экономических до мировоззренческих. Прервалась связь или, по крайней мере, резко осложнилась передача культурных ценностей, требующих определенных усилий, техники вдумывания, внутренней работы. Рутинное воспроизводство отстоявшегося, классического, давно затвержденного шло — действовали, хоть и скверно, школа, библиотека, СМК, — но процесс этот осуществлялся вне контекста актуальных проблем, без соотнесения с живыми вопросами и идеями.

2. Самиздат никогда не был явлением замкнутым (таким его можно только представлять в идеальном виде, для исследовательских целей). Больше того, он не обладал автономной движущей силой, способностью саморазвития. Это была именно **субкультура**, а не изолированная и независимая культурная сфера. Поэтому самиздатские тексты непрерывно вступали в диалог с профессиональными занятиями и интересами интеллигенции. В этом тонком слое, ограниченном чисто личностными отношениями, в кругу доверяющих друг другу людей, например, на столичных кухнях, шел непрерывный анализ ситуации, углубленная внутренняя работа. Осмыслился исторический опыт страны, его ценностная основа, ставились мысленные эксперименты над различными альтернативами социального развития. Но, конечно, основной упор делался на задачи сохранения культуры, связи отечественного и мирового культурного наследия с собственным положением. Эпоха застоя была временем учебы и накопления потенциала. В сравнении с началом 60-х шел несомненный и очень серьезный внутренний рост, прорабатывание огромного массива культуроемкой, научной и философской литературы. Заново осваивались Вебер и Гуссерль, Сартр и Федотов, Набоков и отцы церкви. Это выражалось и в основательности собственно академических исследований (речь, разумеется, об исследователях, а не о приписанных к АН СССР). Глубоко и детально реконструировался контекст развития русской культуры XVIII — начала XX вв. Упомянем здесь хотя бы уровень работы тартуской филологической школы («Труды по семиотике»), Тыняновские сборники, доклады и публикации Ю. Лотмана, М. Гаспарова,

Р. Тименчика, Е. Тоддеса, М. Чудаковой, реферативную и переводческую деятельность ИНИОНа.

Для этого рода ученых, которых можно было бы назвать еще немало, смешно говорить об эпохе застоя. Шла огромная работа, производимая в невыносимых условиях и поддерживаемая лишь сильнейшим чувством интеллектуального и морального долга — долга сопротивления внешнему распаду и деградации. Поэтому группы эти и отличаются столь сильной внутренней спаянностью, жизнью на износ в самом точном и правильном смысле. Вознаграждений, кроме критики и оценки коллег, поддержки единомышленников, здесь не было.

3. Однако драмой этот разрыв между элитой и остальной частью общества стал для более широких кругов — образованных, но, в узком смысле слова, не творческих, для групп, лишенных доступа к источникам информации, к каналам получения литературы. Наши нищие — даже самые крупные — библиотеки (университетские, городские) не смогли обеспечить интеллектуальные запросы этой части общества. Повышение образовательного уровня населения, особенно за последние 15—20 лет, опережающий рост категорий, занятых квалифицированным умственным трудом, никак не соотносился с потоком издаваемой книжной продукции. О масштабе этих процессов культурной динамики можно судить хотя бы по росту количества научно-популярных изданий, отражающих постоянный голод на культуру. Частично интересы здесь компенсировались эрзац-литературой, устоявшейся классикой, избранной переводной словесностью, но явно в недостаточных объемах и тиражах. Быстро, сдерживаясь лишь скудными возможностями книгоиздания, росли личные библиотеки. И одновременно укреплялись межгрупповые и статусные барьеры на пути к хранилищам культуры — крупнейшим библиотекам, архивам (а вместе с тем — к театрам, кинотекам, наконец, к издательствам, если брать продуктивную интеллигенцию). Росла изоляция статусных ячеек общества, атомизация общественных структур.

Острее всего эти ограничения дееспособности сказались на молодежи. Она осталась практически без интеллектуального материала. Не возникали новые культурные формы понимания, атрофировались нормальные «мускулы цивилизации», как это называет М. Мамардашвили, — все, что должно обеспечивать систематическое осмысление встающих перед поколением проблем уже нарабатанными техническими средствами культуры. Вновь приходящие поколения молодых, болезненно ощущая разлад между парадной ложью, официальной болтовней и собственными проблемами и запросами, очутились в положении моральной оппозиции.

Однако этот разрыв нормальных связей и механизмов трансляции культуры вынудил молодежь выработать свои средства выражения. Этим собственным языком стали не формы письменной культуры, рафинируемые в течение многих лет, — поэзия, роман, публицистика, философия, наука, а способы коммуникации аффекта — музыка, причем особая — рок. После фазы заимствований с Запада рок в СССР очень скоро породил оригинальные образцы. Будучи в инструментальном и гармоническом отношении принципиально аскетичным, зато с избытком используя средства разрушения любых дистанций — высоту звука, яркость света и красок, в словесном и стихотворном плане допуская, как правило, отработанные, сравнительно простые или демонстративно «плохие» поэтические средства, рок принял на себя задачу выразить экзистенциальный опыт поколения, на которое пришелся застой. Агрессия, абсурд, слепое ощупывание масок и границ, тоска по абсолютам, эксперименты в сфере ближайших возможностей, испытание пределов для действия социальных табу, смысловая нагруженность немоты — все это и составляет проникнутую отказом тематику и поэтику молодежной культуры, которая со стороны воспринимается как «эстетика безобразия».

4. Для массы же населения, никак не соприкасающегося с письменной или какой-то иной рационализированной культурой, уделом стали постепенное опускание и моральная деградация. Рок ведь тоже не рационализирован, почему и стал адекватен абсурдному опыту существования молодых, а отчасти — даже защитой от невыносимого давления различных императивов и требований со стороны разных социальных институтов, от противоречивости раздранного бытия, лишенного внутренних ценностных, моральных, эстетических ориентиров, не имеющего опоры в коллективных ритуалах и традициях. А разрушение тра-

дий был в последние десятилетия весьма основательным — итоги коллективизации, тяготы послевоенного времени обернулись интенсивной многоступенчатой миграцией в город, опустошением деревни, сломом всего жизненного уклада огромных массивов населения, втянутых в форсированную индустриализацию, вовлеченных в принудительные формы анонимного труда и быта. Общество дичало, обреченное на нашу чудовищную обыденность, бедность, безгласность, незащищенность, неустроенность, отупляющую борьбу за выживание.

Опубликованные в последнее время данные о росте преступности, в особенности — немотивированных и тяжелых преступлений, хулиганстве, алкоголизме, уровне самоубийств свидетельствуют о накоплении год за годом не разрешаемых и не канализируемых напряжений. Жертвой их стал фундаментальнейший социальный институт — семья. Кризис семьи, ее — в каждом третьем случае — распад, тупик, в который зашла система детсадовского и школьного воспитания, разложение высшей школы, — все это следствия (далекие и часто не замечаемые, редко связываемые с патологией общества) разрушения основных общественных институтов. Понятно, что нельзя напрямую связывать возникновение самиздата и рост алкоголизма, число самоубийств и барьеры на пути книгоиздания или кинодела. Речь идет о разных явлениях, имеющих общие причины.

Переливание крови: литература и журнальный бум

Но вот литературная и культурная ситуация изменилась, причем серьезно. Однако первые попытки социологического диагноза пока что вывели на сцену давние стереотипы. Дескать, в нынешней ситуации сосуществуют, с одной стороны, «старое» и «новое», а с другой — «высокое» и «массовое». И старое остается старым, массовое — массовым, сколько-де ни появляйся нового и высокого. Делается вид, что сосуществование это имеет устойчивый и вполне мирный характер. На наш взгляд, здесь скрыто сильнейшее упрощение. И сам этот тип отношения и оценки можно назвать успокаивающим сознанием: мол, не волнуйтесь, ничего особенного, да в общем и ничего нового.

Нам же представляется, что ситуация иная. Изменились соотношения разных частей литературной культуры, изменился контекст, в котором действуют все каналы литературного обращения. От прежней обстановки 70-х — начала 80-х гг. нам достались формы читательского приобщения к литературе, и прежде всего — в книге. Их два: массовая библиотека и продажа по талонам за сданную макулатуру (к этому последнему каналу близки собрания сочинений, безлимитные издания 80-х и др.). За пределами этого круга, напомним, раньше находились группы, опирающиеся на то, что накопили другие — в другое время, в других местах, по другим принципам: мы имеем в виду крупные библиотеки универсального типа и большие домашние книжные собрания до-дефицитарных лет издания (т. е. включенных позднее в букинистические каталоги и имеющих соответствующую наценку). А уже вне этой культуры как книжной или на ее границе действовали кружки и кружки, объединенные устной словесностью, машинописными и ксерокопированными изданиями, иноязычной литературой.

Важно подчеркнуть два момента. Во-первых, практическое отсутствие общего литературного мира (может быть, им приходится считать программную словесность, которую проходят в школе). Во-вторых, наличие особых социальных механизмов, действие которых пересекает намеченные выше межгрупповые границы. Это указующий дефицит (и, понятно, стоящие за указаниями, что ценно, фигуры «героев эпохи недоступности») и реализующий ценности этих героев по стихийно установившимся общим нормам черный рынок (разница между магазинной и рыночной ценой недвусмысленно обозначит дистанцию между упомянутыми героями и вами, покупатели). Итак, предельно широкий круг образов (имен, произведений) в пределах узких групп, предельно узкий круг образов в наиболее широких читательских слоях и соединяющие два этих уровня, фильтрующие многообразие каналы, по которым распространяются либо жестко закрепленные по составу произведения (массовая библиотека, макулатурная серия), либо «всеобщий» состав культуры (школа, черный рынок). Такова была итоговая на середину 80-х гг. организация книжной и читательской культуры в стране, в которой

шла и поныне идет работа по дальнейшему обособлению разных групп читателей — приобретающих с нагрузкой, по договорным ценам, в киосках спецобслуживания, по лотерее на работе и т. д. и т. п.

Изменили же ситуацию, переломили этот процесс дальнейшего разъединения иерархически-статусных групп общества литературно-художественные журналы с идейной программой. Именно они год от года хирели во времена книжного бума и обостренного им дефицита, и именно они вынесли групповое достояние 60—70-х, их коллективную память и опыт на общее обсуждение, в предельно широкие читательские круги. Силу произошедшего здесь сдвига можно замерить эмпирически, сопоставив величину «групп подхвата» получающих признание литературных образцов тогда и теперь. Если суммарная аудитория даже наиболее популярных книг самиздата (скажем, Солженицына) вряд ли превысила за 15 лет 80—100 тысяч человек — что-то около тиража «Нового мира» в 60-е гг., — то сейчас она на порядок выше и охватывает нынешнюю разовую аудиторию этого журнала, а с учетом ближайших слоев приобщения за несколько недель — 5—10 млн. читателей.

Тем самым огромные единовременные тиражи фактически сравняли сегодня величину групп первичного приобщения Пастернака и Набокова, Селюнина и Шмелева с соответствующими показателями макулатурных изданий, секретарских романов-эпопей, государственно-политических детективов, национально-почвенных саг и державных военных хроник. «Новая» старая литература вышла теперь на уровень всеобщности или, как называют это в разговорах о культуре чтения и недалеко ушедшей глубинке, «массовости». (Почему-то данную характеристику применяют по-прежнему к Проскурину, а не к Рыбакову, к А. Иванову, а не к Гроссману, к Ю. Семунову, а не к Гранину.) Можно ожидать, что в ближайшее время к процессу расширения значимости групповых ценностей 60—70-х гг. подключатся и дефицитарные каналы. Уже наполняющийся черный книжный рынок вчерашние журнальные бестселлеры, изданные книгой, понемногу вытесняют в отделе договорных цен букинистической торговли позавчерашних Дюма и Дрюонов, Драйзеров и Конан Дойлей. Не сегодня-завтра «Дети Арбата» и «Белые одежды» попадут в макулатурную серию, а там и в школьное чтение, сначала — внеклассное, позднее — в программное. Школа включит часть их в «ядро» нормативной культуры, сделает обязательным и доведет до всеобщего сведения.

Вместе с тем, естественно, обозначилась и лидерская «группа отрыва», ранее формировавшаяся вокруг устной словесности и серопечатных изданий. Поскольку журналы как органы идеологических групп, средства полемики, факторы динамики и синтеза позиций, стремительно нарастив за 1987—88 гг. тиражи, заняли место массовой словесности, авангардные круги, в небольшой их части — как свидетельство плюрализма — втянутые на журнальные страницы, пробуют найти для себя собственные формы издания. Одной из них стал альманах, выступающий органом кружка, школы, направления (например, «Лексикон», «Круг») или объединяющий самые разные точки зрения (скажем, «Взгляд», «Чистые пруды»). Иначе говоря, более мощное по объему и читательской поддержке «крыло» запрещенной прозы 60 — начала 80-х гг. вышло на страницы много-тиражных журналов, другое — поисковая поэзия и проза, источник и резерв нового на будущее — куда медленнее проступает на страницах альманахов, кооперативных и совместных изданий, сдерживаемых пока что принятыми постановлениями и расчетливой нерасторопностью ответщиц. Работают, наконец, и десятки альтернативных периодических изданий, выходящих в машинописном и ксерокопированном виде; кое-что из них (скажем, из «Синифантома», «Третьей модернизации» и др.) мелькает и в «большой» печати.

То же, что носило имя «массовой» и «популярной» литературы, вытеснено сегодня у читающей публики новыми журнальными и отчасти книжными публикациями; оно сдвинуто к тем периферийным социальным слоям, где кончается, теряя свою определенность, литературная культура и начинается безымянное существование среди случайно читающих кругов, не обладающих собственными книжными ресурсами и литературными стандартами. Это регионы секретарской и лауреатской словесности предшествующих десятилетий. Ею — как историко-социальным и культурным феноменом в целом — уже начинают заниматься социально-критическое литературоведение, социология литературы. А это значит, что читательская жизнь

этой словесности подошла к концу. Ее творцы перестали восприниматься в качестве наших современников.

И теперь, когда вчерашнее достояние одних оказывается в пору не подозревающим о них другим, становится особенно ясно: проблема прошедших десятилетий, а во многом и нынешнего дня заключается в наращивании культивируемого, цивилизованного слоя — тех групп, которые могли бы получить достаточную подготовку, чтобы воспринять накопленное элитой за годы «застоя». Ибо все трудности вчерашней и сегодняшней социальной динамики состоят даже не в необходимости новых идей, не в продуктивной силе творческих групп, а в создании дееспособной среды освоения этих идей. Элита — интеллектуальная, нравственная, художественная — так или иначе работает в любых условиях и не может, не изменив себе, перестать думать, читать, сопоставлять и анализировать. Она относительно независима от обстоятельств, как бы тяжели они ни были (однако благодарить эти страдания за накопленный духовный опыт, как это иногда делают, мы бы не стали). Работа духа движется собственной мотивацией: система вознаграждения и силы, подвигающие к решению той или иной задачи, проблемы, внутренней антиномии, не связаны с внешним социальным миром публикации, премий, гонимых, цензуры и т. п. Формы графической творчества принципиально другие, награда здесь — в самом акте смыслообразования, в уяснении и развертывании мысли и образа. Поэтому и задавить индивидуальную мысль полностью нельзя. Ситуация журнального взрыва и есть основное событие «нового», акт создания подобной среды. То, что нарабатано в культурных анклавах, семинарах, кружках, группах единомышленников, то, что хранилось владельцами архивов, собирателями текстов, держателями групповых стандартов оценки и понимания реальности, постепенно выходит сегодня наружу. И не в книги, а, что характерно, в журналы. У книг еще и сегодня непомерно долгий производственный цикл, неопределенная структура распространения, во многом изуродованная дефицитом. Пресса же, периодика, благодаря регулярности выхода и индивидуальной подписке, создает собственную устойчивую аудиторию. Канал распространения сам информационно значим, поскольку обладает специфичной социально-культурной программой, концепцией издания, системой подачи информации. Иными словами, он является группообразующим, социально-структурирующим фактором. Сегодня оперативность периодики — мера социального времени. Не просто события, а их интерпретация, выражение отношения к ним в актуальной прессе становятся теперь отметками общественной динамики, изменения, процессуальности.

Параметры существования самих интеллектуально-продуктивных групп в предшествующий период характеризовались парадоксальным устным способом передачи культуры. Небольшие размеры кружков предполагали тесные внутригрупповые коммуникации, которые должны были обеспечить необходимое динамическое единство представлений, ценностей, стандартов работы. Эта интенсивность общения компенсировала отсутствие развитой системы письменных коммуникаций, нормальных условий культурной работы. (Подобные группы есть и сейчас, поскольку разные области социальной жизни, разные пласты культуры как б живут в разном времени.)

Но если раньше общий уровень навыков мысли, техники рефлексии, общих идей и оценок повышался в пределах анклавного существования сравнительно узких групп, то сегодня вся эта устная культура начала проникать в журналы одного уровня и слоя. Лакуны и разрывы внутри одной социальной страты — интеллигенции, разграниченной до того барьерами интеллектуальной специализации, ведомственными рамками, каналами мобильности, — начали очень быстро заполняться. Нынешний рост тиражей нескольких столичных журналов («Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева» и др.) отражает именно этот процесс. Их аудитория (в отличие, скажем, от «Огонька») увеличивается не за счет приращения других социальных контингентов, а благодаря уплотнению одного и того же образовательного и интеллектуального слоя. Иными словами, там, где структура слоя была редкая, рыхлая (на что указывал характер подписки — примерно, 1 экземпляр на 50 потенциальных подписчиков и их семей), там она теперь резко уплотнилась. (При крайней содержательной бедности журналов эпохи застоя этого было достаточно, чтобы до появления следующей сколько-нибудь интересной новинки публикация смогла бы прочитаться все заинтересованные лица.) Теперь же в ядре слоя подписчиков один эк-

земпляр приходится на двух читателей. А наиболее «пробные» публикации — скажем, А. Рыбаков, М. Булгаков, Н. Шмелев — начинают постепенно выходить к другим социальным слоям и группам. Характерно, что процесс этот идет от центра к периферии, т. е. опять-таки начиная с Москвы и Ленинграда, где расходуется непропорциональная численности населения, большая часть тиража изданий-лидеров, тех, кто продолжают и сегодня наращивать тираж и объем подписки.

Подведем итоги. Поле действующих в литературе сил размечают сегодня прежде всего несколько столичных журналов, стремительно нарастивших примерно одну по своему месту в обществе аудиторию до одинакового, с некоторыми колебаниями, тиражного уровня. Это около миллиона получающих разом каждый вновь выходящий номер всех этих четырех-пяти изданий (более синтетичный по программе «Новый мир» имеет и преимущество в объеме подписчиков). Они систематически выносят на обозрение столь широкого круга читателей результаты работы последних 15—20 лет непрерывавшегося культурного строительства.

Другое направление деятельности инициативных интеллектуальных групп сегодня имеет еще во многом пробный характер, почему и получает некоторые признаки маргинального, молодежного, принципиально вне-центрального, стало быть — не массового. Эта литература, критика, эссеистика (включая и переводной авангард) обретает выход в нескольких русскоязычных изданиях сверхкрупных городов, своего рода новых, альтернативных центров общества, — они в большинстве своем малотиражные, но понемногу увеличивают авторитет. Таковы, например, рижские «Родник» и «Даугава», таллиннская «Радуга», литературные страницы изданий республиканских Народных фронтов, саратовская «Волга», свердловский «Урал», памятный еще по 60-м гг. воронежский «Подъем». Они входят в репертуар подписки 4—5 процентов аудитории журналов-лидеров — что-то вроде разведывающих регулярных войск. Часть публикуемого в них несколько позже авторизуется «толстыми» центральными журналами. Большая же доля развивается собственными силами и по своей логике, не ожидая команды из центра, чем эти издания и отличаются от прежнего «периферийного» существования на переводных детективах или напоминающих моду публикационных процессов в ряде провинциальных журналов, перепечатающих авторитетное, но ранее малотиражное и в этом смысле лишь копирующих прежние образцы. Тем временем часть воспроизводимого в толстых журналах получает высокую оценку экспертов, переходит в книжную форму и начинает — за год примерно удвоив тираж — новые круги социального бытования.

Обретение популярности вещи включаются теперь в дефицитарный режим существования (в отличие от безлимитной подписки, где литературная жизнь сегодня имеет меньше всего ограничений). А в качестве дефицита избраны имена и образцы западают уже в иные, по сравнению с кругами подписчиков, читательские среды, получают отметку черного рынка, отделов торговли по договорным ценам и другие методы социальной авторитетности. Так они становятся значимы для инициаторов самого массового тиражирования образцового комплекта культуры — создателей макулатурной серии, следующих в этом еще и рекомендациям «Роман-газеты». Здесь образцы достигают «дна» читательской культуры.

Обобщая, можно сказать, что стала обозначаться динамическая структура литературной (и шире — письменной) культуры. Вновь обрисовывается передний край литературных и эссеистических (исторических, философских) разработок. Формируется система «подхвата» — отбора, оценки, интерпретации и тиражирования лучшего. Но перед нами — самое начало этих процессов. Во-первых, здесь необходимо систематическое расширение круга читателей литературы, уже получившей авторитетную экспертизу. Тут должны подключаться, с одной стороны, свободный рынок, с другой — школа. Во-вторых, практически нет налаженного механизма узаконивания автономных сообществ литературных дебютантов и экспериментаторов, продвижения к читателю их продукции. Они должны располагать своими печатными средствами на независимой экономической основе — малотиражными газетами, журналами, альманахами. Создание и отработка таких организационных структур малого и среднего масштаба действия — задача, хотелось бы верить, ближайшего будущего. От ее решения зависит дальнейшая судьба нынешнего динамического импульса социальной и культурной жизни.

Апрель 1989 года

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 1939 ГОДА

6 января скончался бывший президент страны Густав Земгалс.

7 января в Чехословакии объявлена мобилизация резерва.

17 января министром внутренних дел назначен Корнелий Вейтман.

20 января в большой ауле университета в присутствии президента страны Карлиса Улманиса состоялось торжественное открытие Латвийской Камеры профессий.

28 января президент государства основал «фонд Будущих землевладельцев» в Берзе.

1 февраля в присутствии президента страны в Доме съездов начал работу совет по культуре.

10 февраля в Ватикане умер папа Пий XI.

14 февраля кабинет министров создает фонд поддержки государственных хозяйств.

28 февраля начал работу Общий сельскохозяйственный банк.

2 марта Ватиканский конклав выбрал папой кардинала Эйжена Пачелли, бывшего госсекретарем Ватикана. Он принял имя Пий XII.

14 марта президент Чехословацкой Республики д-р Хацка прибыл в Берлин и подписал договор с Германией, устанавливающий протекторат государственного канцлера Гитлера над Чехией.

15 марта германская армия оккупирует Чехию и Моравию.

20 марта организация айзсаргов отмечает свой 20-летний юбилей.

22 марта Клайпедский округ присоединен к Германии.

28 марта в Испании окончена гражданская война, продолжавшаяся 968 дней.

30 марта Германия обращается к Польше с предложением определить свое отношение к суверенитету Данцига, строительству автошоссе вдоль польского побережья, а также оси Берлин — Рим. Польское правительство отвергло эти предложения.

5 апреля Германия официально объявляет о присоединении Данцига.

7 апреля итальянские войска оккупируют Албанию.

11 апреля исполняется три года с тех пор, как Карлис Улманис вступил на пост президента.

25 апреля правительство Англии вводит всеобщую воинскую повинность.

25 апреля умер ветеран латвийской прессы Арон Матисс.

28 апреля государственный канцлер Германии Гитлер расторг договор об англо-германском флоте и германо-польский договор о ненападении.

3 мая кабинет министров основал фонд рационализации.

4 мая комиссар по иностранным делам Советского Союза Литвинов отстранен от должности, его обязанности возложены на Молотова.

6 мая вступает в силу Закон о предоставлении работы и размещении рабочей силы.

10 мая министр финансов и шведский спичечный синдикат подписали договор об окончательном погашении долга Латвии на особо выгодных условиях.

12 мая в Риге проходит первое совместное заседание советов по хозяйству и культуре.

15 мая народ отмечает пятилетний юбилей возрождения Латвии. На торжественном акте в Национальной опере награды родины вручаются Аспазии, Юлии Скайдрите, профессору д-ру Я. Эндзелину, Юрису Бебре, Алфреду Калниню, почетному доктору агрономии Ю. Мазверситису.

17 мая английская королевская чета прибыла в Канаду.

23 мая Рига празднует 20-летие со дня освобождения. Президент открывает памятник на месте боев бригады Балодиса у церкви Пиньтю.

6 июня кабинет министров создал совет по сельскохозяйственным исследованиям и опытам.

7 июня, в Берлине, между Германией и Латвией подписан договор о ненападении.

15 июня умер основатель и долголетний шеф-редактор газеты «Яунакас Зиняс» Антон Беньямин.

16 июня в присутствии президента государства в университете открывается выставка, посвященная пятилетию годовщины возрожденной Латвии. В это же время в Елгаве открывается сельскохозяйственная выставка, а в Доме съездов — смотр достижений.

17 июня президент государства принимает парад на площади Победы по случаю 20-летнего юбилея организации айзсаргов.

19 июня открывается курорт Межциемс.

21 июня кабинет министров принимает закон о городском самоуправлении, создав городской совет и городских голов переименовав в старейшин.

1 июля начинает свою деятельность Елгавская Сельскохозяйственная академия.

8 июля исполняется 20 лет с тех пор, как Латвийское временное правительство под руководством президента Карлиса Улманиса на пароходе «Саратов» прибыло в Ригу.

16 июля в Дикли президент открывает Праздник песни, посвященный 75-летию первого Праздника песни.

14 августа в Роттердаме, Голландия, умер директор государственной канцелярии министр Д. Рудзитс.

22 августа германская пресса сообщает о заключении пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом. Министр внутренних дел Риббентроп на самолете прибыл в Москву.

26 августа в Париже проводится эвакуация музеев. В парках и на площадях началось строительство убежищ, здесь роют окопы.

29 августа эвакуация в Лондоне.

31 августа всеобщая мобилизация в Польше. Эвакуация Парижа.

1 сентября немецкие самолеты бомбят польские города. В опере Кролла собирается рейхстаг великой Германии и принимает решение о присоединении Данцига к Германии.

* «Jaunākās Ziņas», 30 декабря 1939 г. № 296

2 сентября президент Карлис Улманис провозглашает декларацию о нейтралитете Латвии.

4 сентября в Риге молодежь собирается отмечать 10-летний юбилей организации мазпулков. Президент принимает парад мазпулков.

Англия и Франция объявляют войну Германии.

6 сентября немецкие войска занимают Краков. Идет эвакуация Варшавы.

8 сентября в Резекне открывают памятник освобождения Латгалии.

14 сентября Англия посылает первые воинские соединения во Францию.

15 сентября немецкие войска занимают Гдыню и окружают Львов.

17 сентября советские войска переходят польскую границу и оккупируют Западную Украину и Белоруссию. Немецкие войска окружают Варшаву.

19 сентября советские войска занимают Вильнюс.

27 сентября специальная делегация Эстонского правительства отправляется в Москву, чтобы заключить договор с правительством СССР о военной взаимопомощи. Министр иностранных дел Германии Риббентроп заключает в Москве договор с Советским Союзом о границах и дружбе и обсуждает план немецкого и советского сотрудничества.

28 сентября Латвийский университет отмечает 20-летний юбилей.

2 октября министр иностранных дел В. Мунтерс отправляется в Москву, чтобы прояснить дальнейшие отношения с Советским Союзом. Торговля сахаром и керосином определяется карточной системой.

От поста отказывается президент Польского государства проф. Мосцицкий.

3 октября кабинет министров принимает решение строить железную дорогу Рига—Кулдига.

5 сентября во Франции образовано новое правительство Польши под руководством ген. Сикарского. В Москве подписан пакт о взаимной помощи между Латвией и СССР.

10 октября министры иностранных дел Литвы и СССР заключают в Москве договор о передаче города Вильнюса и Вильнюсского округа Литве и договор о взаимной помощи. В Москву выезжает хозяйственная делегация Латвии.

11 октября делегация правительства Финляндии отправляется в Москву. Эвакуируются крупнейшие города Финляндии.

12 октября президент государства на совместном заседании государственного хозяйственного совета и государственного совета по культуре сделал сообщение о заключенных договорах и политическом положении.

14 октября первый немецкий пароход увез из Риги репатриированных немцев.

15 октября запущена первая турбина Кегумской силовой станции.

16 октября исполняется 20 лет с тех пор, как Карлис Улманис назначил генерала Яниса Балодиса, нынешнего военного министра, главнокомандующим объединенной национальной армией.

18 октября в Стокгольме происходит совещание королей Скандинавских государств и президента Финляндского государства. Франция, Англия, Турция заключают пакт о взаимной помощи.

24 октября основано министерство торговли и промышленности. Его руководителем назначен Я. Блумберг. Министр финансов А. Валдманис подает прошение об отставке. Президент назначил Я. Каминского министром финансов.

28 октября в присутствии президента государства в Елгаве во дворце памяти Виестура освящена Сельскохозяйственная академия.

Литовские войска входят в Вильнюс.

30 октября кабинет министров подписывает договор о перемещении граждан Латвии в Германию.

31 октября президент государства и военный министр

обратились к народу с призывом жертвовать средства на безопасность государства, пожертвования завершаются 30 ноября. Народ пожертвовал 2,5 миллиона лат.

1 ноября немецкие школы Латвии прекращают свою деятельность.

8 ноября на собрании национал-социалистов в Мюнхене происходит сильный взрыв.

10 ноября в Валке торжественно отмечают 100-летие основания быв. семинара Цимзе.

11 ноября Латвийская армия отмечает 20-летний юбилей.

14 ноября прерваны переговоры между Финляндией и Советским Союзом.

17 ноября в 12 часов дня запускают вторую турбину Кегумской силовой станции.

18 ноября Латвийское государство отмечает 21-й год своего существования.

21 ноября Англия объявляет все экспортные товары Германии военной контрабандой.

26 ноября Советский Союз сообщает, что в Карелии финская артиллерия обстреляла советские войска.

29 ноября Советский Союз объявляет недействительным заключенный с Финляндией пакт о ненападении.

30 ноября в 7 часов утра советские войска на суше и на море начинают наступления на Териоки и Вамелсуну на Карельском перешейке. Советские войска бомбят Хельсинки.

Национальный театр в Риге отмечает 20-летний юбилей.

1 декабря в Хельсинки объявляют о смене правительства. Министром-президентом становится Р. Рити. В занятом советскими войсками городе Териоки создается правительство Финляндии во главе с Куусиненом.

2 декабря Национальная опера отмечает 20-летний юбилей.

7 декабря в Таллине происходит конференция министров иностранных дел Балтийских государств.

8 декабря начинает работу совет столицы Риги.

10 октября Академия художеств отмечает 20-летний юбилей.

11 декабря в Женеве проходит общее собрание Лиги Наций, чтобы обсудить конфликт Финляндии и Советского Союза.

13 декабря возле берегов Уругвая происходит сражение английского флота с немецким броненосцем «Admiral Graf Spee». Обстрелянный броненосец находит убежище на рейде Монтевидео.

15 декабря заканчивается репатриация немцев. 47 808 граждан теряют латвийское подданство и уезжают.

16 декабря Ригу покидает последний корабль с немцами.

17 декабря исполняется 40 лет с того дня, как Карлис Улманис начал общественно-политическую и хозяйственную деятельность.

19 декабря в устье Ла-Платы тонет немецкий броненосец «Admiral Graf Spee».

21 декабря кабинет министров принимает закон о смене фамилий. В церкви св. Петра у айзсаргов происходит богослужение возле елочки и впервые звучит Латвийский гимн. Правительство основывает государственное электрическое предприятие «Кегумс».

Началось контраступление финнов на севере. На торжественной аудиенции папа Пий XII принимает короля и королеву Италии.

23 декабря президент государства выступает по радиотелефону с речью, в которой сообщает о замысле правительства уменьшить для сельских хозяйств плату за электрический ток на пять сантимов за киловатт-час.

27 декабря на востоке Турции происходит ужасное землетрясение.

28 декабря папа Пий XII прибывает с ответным визитом к королевской чете Италии. Этот визит считается важной акцией мира.

Перевела ИНА ОШКАЯ.

Ольга Свиблова

О Владимире Янкилевском

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни; и стал человек душею живою».

(Бытие 2:7).

На печально знаменитой выставке в Манеже в 1962 году Никита Сергеевич Хрущев и другие руководители государства начали свой обход экспозиции с разделов советской классики. Но и здесь не все пришлось им по вкусу. Особое раздражение вызвала «Обнаженная» Роберта Фалька. Фальк снял со своей модели одежды, и уже это казалось кощунством, чуждым народу и государству. Действительно, любое обнажение всегда опасно для культур закрытого типа. Неудивительно, что работы Владимира Янкилевского, представленные на той же выставке в залах второго этажа, отведенного «авангардистам», вызвали не просто раздражение, но негодование.

В своих произведениях этот художник обнажает не плоть, но душу мироздания, нащупывая своей уникальной художественной интуицией «костяк мироколицы», тот самый субстрат жизни, который и делает человека «душею живою». Блестящий рисовальщик, унаследовавший «руку» от отца, замечательного, хотя и не снискавшего известности художника, Владимир Янкилевский своими нервными, захватывающими штрихами способен передать любую натуру не хуже, чем мастера эпохи Возрождения. Однако натура сама по себе не так уж интересна художнику. Еще в начале века Карл Бюлер задумывался над тем, почему детские рисунки так непохожи на то, что ребенок видит реально. На профиле ребенок рисует два глаза. У всадника, сидящего верхом на лошади, изображает обе ноги. Человека он рисует так, как одевал бы куклу: сначала изображают контуры тела, потом платье, потом пальто. Бюлер объяснил это тем, что ребенок рисует не то, что он видит, но то, что он помнит об изображаемом предмете. Последнее связано с овладением языком. Детские рисунки концептуальны. Они отражают процесс мышления. В какой-то мере работы Владимира Янкилевского сродни детскому творчеству.

Детская непосредственность, спонтанность — сегодня в моде. Но как и всякая мода, увлечение «детскостью» носит, как правило, поверхностный характер. Симулируется внешняя форма, «антиакадемизм». Иное дело творчество Владимира Янкилевского. Ему удается сохранить чистоту и первичность мировосприятия в сочетании с тем напряженнейшим процессом мышления, которое свойственно детям и взрослым гениям. Увы, с возрастом человек теряет способность и вкус именно к мышлению, в том числе и визуальному мышлению, забаррикадировавшись от мира вовне и собственного опыта готовыми навыками, привычками.

Для Владимира Янкилевского жизнь — нескончаемая цепь вопросов, на которые он ищет ответа с детской же страстью и упрямством. Его художественные открытия поражают глубиной и серьезностью, соприкасаясь с новейшими философскими концепциями, последними достижениями точных и гуманитарных наук. Уже в начале 60-х годов он пластически сформулировал то, над чем работали в это время лучшие методологи мира. Проблема

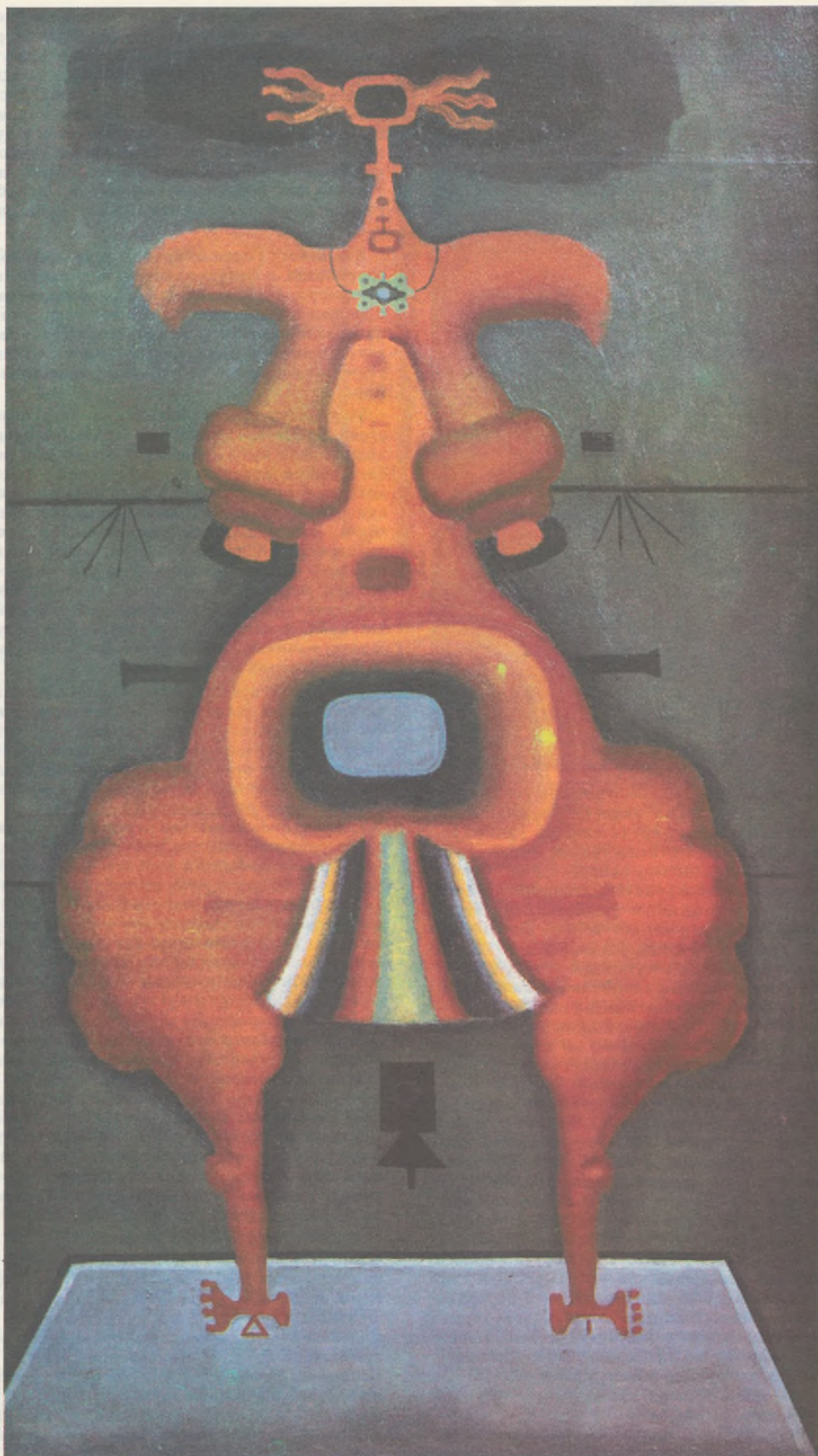
текста и контекста, вопрос о переходе к описанию процессов вместо констатации состояний, представление мира как системы взаимодействий... Как тут не вспомнить К. Поппера, Л. Витгенштейна и др.

Янкилевский всегда умел чувствовать «ростковую точку времени». Глубоко укорененный в культуре, он в то же время постоянно «выпадает» из нее, варварски нарушая «нормы» и каноны, доверяясь в момент творчества лишь собственному художественному чутью, ломая устоявшиеся представления о художнике и художественном. Так он развивает пространство искусства, работая на будущее культуры. Работы Янкилевского никогда ничего не отображают, но выражают сами жизненные процессы, их энергетическую пульсацию. Художник является как бы приемником и усилителем тех энергетических потоков, которые принизывают наш мир, связывая воедино органику и неорганику, биологическую и культурную жизнь, частное и универсальное, тех самых потоков, которые и есть сама жизнь, и о которых на другом языке, языке науки писал академик Вернадский.

Увы, у нас обычно нет специального органа для восприятия этого типа излучения, однако психологи доказывают, что в экстремальных условиях возможно развитие новых способов чувствительности. «Фигура интуиции» Владимира Янкилевского — доказательство этого положения не в экспериментальных лабораторных условиях, но в реальности художественной жизни, которая, кстати, действительно была экстремальной все эти годы.

В 1962 году он представил на выставку в Манеже «Атомную станцию», пентаптих, в котором была заложена структурная основа его последующих произведений. Между различными частями пентаптиха, названия которых многое поясняют в общей художественной концепции автора (ч. I — Пейзаж, ч. II — Существо, ч. III — Атомная станция, ч. IV — Гений, ч. V — Предчувствие) существовало сложнейшее взаимодействие. Взаимодействие, основанное на тех смысловых, эмоциональных конфликтах, которым Владимир Янкилевский нашел точнейшее пластическое выражение, переведя их в наэлектризованное поле своей живописи, сталкивая цвета, тона, структуры и фактуры. Конфликт — движущая сила развития жизни, конфликтность различных пластических структур — основа художественного мирокосмоса Владимира Янкилевского.

«Предчувствие» — важнейшая часть пентаптиха «Атомная станция». Уже здесь, в работе 1962 года выразилась стереоскопичность художественного видения автора, который одновременно представляет материальный объект и движение, культуру и природу, мир переживаний, предчувствий, глубинного бессознательного опыта, имеющего доступ к архитипическим основам бытия, а потому более прозорливому, открытому знанию будущего. Тогда, в 1962 году, эта работа пугала и будоражила тех, кто желал оставаться в непротиворечивом и удобном мире утопий.



Адам и Ева. Триптих № 5 (деталь). 1965



Пентаптих № 2. Адам и Ева (деталь), 1980

После Чернобыля на нее невольно смотришь другими глазами. Воистину не только время делает художника, но и художник творит наше время, предвосхищая грядущее, взывая услышать предчувствия, недоступные существам-мутантам, коими мы невольно делаемся, теряя живую душу под напором неугомонного социума, деформирующего тела и нормальные, как выражается художник, «адекватные» реакции на окружающее и на собственные ощущения.

Серия рисунков, гуашей, офортов, созданная в 1972—78 годах, объединенная названием «Мутанты», — после Гойи, пожалуй, наиболее страстное высказывание художника о мире и времени, искаженных бесовским началом. С такой страстностью может говорить лишь художник с обостренным этическим чувством, что вообще-то не очень характерно для современного умудренного искусства эпохи постмодерна, где принципиальный релятивизм, ирония и игровое отношение к истории и культуре снимают извечные вопросы об осмысленности существования, об истине, добре и зле. Владимир Янкилевский не стремится навязать зрителю собственную этическую или эстетическую концепцию. Его видение слишком универсально, чтобы сузиться до изображения «должного», но при этом в любом его произведении от маленького рисунка до огромного пентаптиха всегда ощутима авторская позиция. Позиция человека, ощущающего мир на самых разных уровнях, способного передать сложнейшее взаимодействие этих уровней, но никогда не теряющего представления о духовной иерархии всего сущего. Это важно. Возможно, это и есть предчувствие развития современного искусства в ближайшем будущем, когда, устав от постмодернистской тотальной относительности, оно снова будет вынуждено обратиться к поиску абсолюта, обнаруживая новые связи частного и универсума, культуры и личности.

Творчество Владимира Янкилевского выпадает из любых рядов и направлений как отечественного, так и зарубеж-

ного современного искусства, одновременно наследуя лучшие мировые традиции, от первобытных рисунков и африканских масок до Сезанна и Ван Гога. Его художественный космос сформировался практически сразу, хотя и развивался все эти годы, углубляясь, достигая все большей чистоты пластического высказывания. Это мир, открывшийся в результате колоссального духовного сосредоточения. В то же время этот опыт «усмотрения» развит ежедневной серьезнейшей работой. Мир, где предчувствия соединились с жесткой логической проработкой. Это интуиция, окультуренная всеми достижениями мировой науки и искусства.

Как некогда один из крупнейших психологов Курт Левин разработал полевую концепцию психики, описав силовые и векторные характеристики взаимодействия людей друг с другом и окружающей реальностью, настаивая на принципе изоморфизма — единой архитектонике мира и человека, Владимир Янкилевский создает «Пейзажи сил», пластически воплощая собственные представления о природе мира.

Мир интересует художника в предельности своих состояний, той предельности, когда настоящее чревато будущим. Для выражения этой предельности он использует богатейший арсенал художественных средств. Здесь годится все: от условного абстрактного рисунка до муляжных подобию атрибутов коммунальных квартир и их обитателей. Эти правдоподобные звонки и авоськи, эти убедительные люди, раз и навсегда застывшие в таких деловых позах, — полюс бесконечной шкалы жизнь—смерть. И это именно мертвая точка, ибо для Янкилевского все, что тождественно своей материальной оболочке, мертво. Это тот прах, в который еще необходимо «вдунуть» дыхание жизни, а значит, движение, вечные перемены, возникающие из преодоления вечных конфликтов.

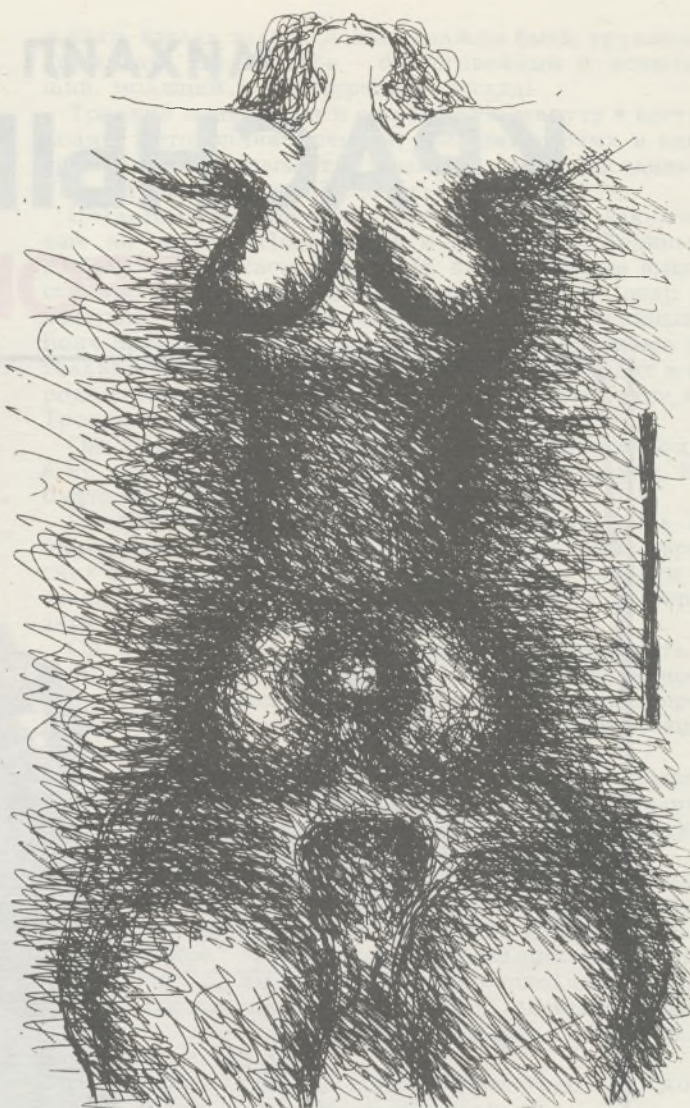
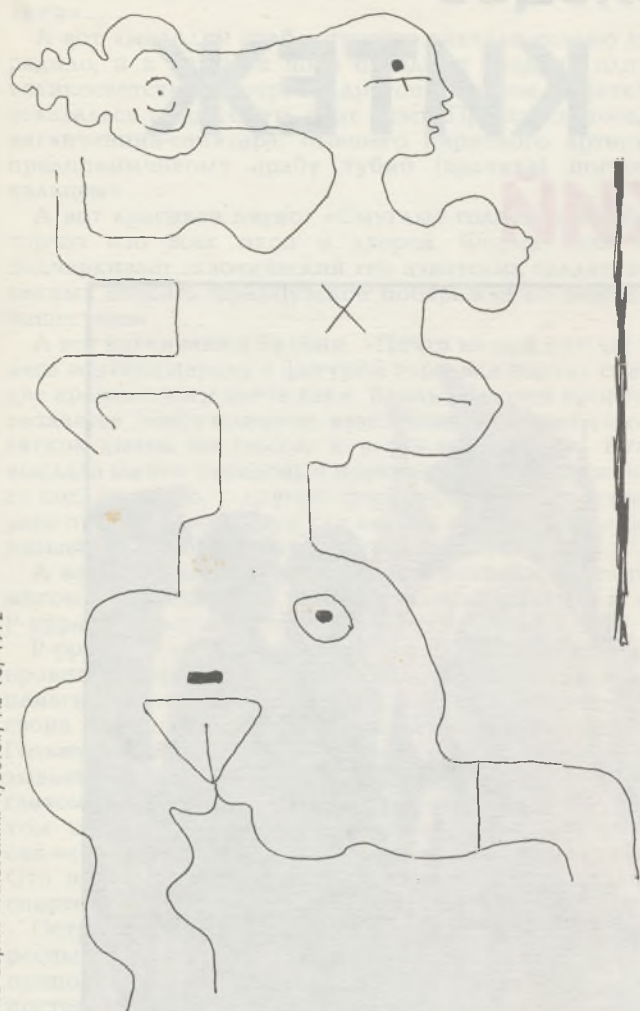
Силы, действующие в работах Владимира Янкилевского, часто так же деструктивны, как природные силы мира. Их центробежный напор приходится сдерживать различного рода рельефами, рамами, железными окантовками. Так художник противостоит энтропии, создавая свой космос, упорядоченный естественным природным взаимодействием мужского и женского начала.

Современное искусство переживает снова увлечение экспрессионизмом. Видимо, нечто витает в воздухе, заставляя художников кричать и корчиться, выплескивая на холсты страстные свидетельства внутренних и внешних конфликтов нашего времени. Творчество Владимира Янкилевского также экспрессивно, однако это совершенно другой тип экспрессии. Его можно было бы назвать эпической экспрессией. Так экспрессивны метафоры Гомера, описывающего падение Трои. Это замедленная киносъемка, позволяющая разглядеть детали и детали в сложнейших кульбитах, остановить мгновение, не нарушая его длительности. Это существование произведения во времени и в то же время вне времени, свойственное любому настоящему искусству.

«Ветер времени раскручивает меня и ставит поперек потока...» — мог бы сказать о себе Владимир Янкилевский словами из поэмы Алексея Парщикова.

Художник, как никто другой, выразил дух своего времени, психологию своего поколения и в то же время остался в стороне, причастной к этой, но не только этой жизни, и потому такой удивительный в своей отдельности, но не отделенности.

В работах Владимира Янкилевского всегда ощутим масштаб, независимо от того, идет ли речь о маленькой пастели или огромном полиптихе. Работа с физическими масштабами необходима художнику, чтобы выразить разномасштабность человеческого существования. Ведь большой-маленький — одна из базисных бинарных оппозиций, столь существенных для становления нашей картины мира. Вспомним вечные детские вопросы: «Мама, а он большой? ..». Но в данном случае речь идет об ином масштабе, об уровне духовной значимости, о том, казалось бы, неуловимом, трудно описываемом, но безошибочно ощущаемом свойстве быть соразмерными миру и мирозданию.



Произведения В. Янкилевского чрезвычайно активны. Порой интенсивность их излучения даже отпугивает зрителя, привыкшего к общению с пассивной средой. Сегодня новая наука синергетика исследует процессы возбуждения и самоорганизации, возникающие после вмешательства в так называемые «активные среды». В работах художника «среда» также всегда активна, и возникающее в ней возбуждение сродни неугасающим автохтонным волнам. Саморазвивающиеся и самоорганизующиеся процессы, единые для живого и неживого вещества, ученые разглядели совсем недавно. Художник же и здесь оказался в какой-то мере пророком. Кстати, тема «пророчества» достаточно часто появляется в его творчестве, отсюда и персонажи-«пророки».

Картина мира, «схваченная» глазами Владимира Янкилевского (а это тот случай, когда глаз действительно оправдывает свое происхождение, то есть часть мозга, вынесенная вовне), требовала нового языка описания. И он разрабатывает этот уникальный и в то же время универсальный язык, художественной практикой доказывая знаменитое положение Л. Витгенштейна о том, что «значение есть употребление». Его «словарь» не так уж велик. Бесконечно разнообразно использование одних и тех же элементов в разных контекстах: от рисунка на обрывке бумаги до включения в монументальные триптихи и пентаптихи, а также в коллажи, как бы стягивающие воедино все составляющие всех периодов этого художника. Так жизнь варьирует архетипические мотивы и в каждое мгновение являет нам новый лик, сквозь который всегда проступают знакомые черты.

Специализация — болезнь нашего времени, естественно распространившаяся и на искусство. Концептуалисты раз-

рабатывают концепты, живописцы стоически отстаивают традиционные средства живописи, поп-арт обживает предметный мир масскультуры и т. д. Владимир Янкилевский со своим универсализмом на этом фоне оказался «удивительно несовременным», а может быть, обогнавшим время. В его работах варварская чувственность соединяется с высочайшим уровнем концептуализации действительности, доходящей порой до знакомой отточенности. Создаются многослойные пространства целая система вложенных друг в друга пространств, где блистательные видения и бесконечные горизонты обрываются в черные дыры, ловушки духа и пространства. Причем обрыв этот явлен со всей обнаженностью приема, как реальная дырка с зазубренными краями, пробитая в толстом листе оргалита. Однако за этими черными дырами, сквозь них опять просвечивает жизнь и свет, новый горизонт. Так отчаянье и надежда сменяют друг друга, но в этом вечном борении и конфликтности, в этом движении из одних пространств в другие и есть жизнь.

Это дыхание жизни, ее напор и накал мы и ощущаем, соприкасаясь с художественным миром Владимира Янкилевского. То, что в обыденном опыте дается нам неясно и обрывочно, приобретает в его работах универсальный характер. Он раздвигает наше физическое и духовное зрение, обнажая «анатомию чувств», открывая новое, то, что скрыто под покровом видимости и обыденности. Может быть, поэтому воспринимаются его произведения нелегко. Человеческий глаз консервативен, и для постижения нового всегда требуется некоторое усилие. Зато совершив его, мы раздвигаем границы опыта. Творчество художника возвращает нам утерянный в суете будней космический и культурный масштаб видения и ощущения.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

КРАСНЫЙ КИТЕЖ

ТРОЦКИЙ



I

У Намюра тяжело ухают пушки. Валлония и Фландрия распростерты в пыли и крови. Воины Бельгии, Тили Уленшпигели двадцатого столетия, в серых кепи и с вещевыми мешками устало отодвигаются вглубь, к Антверпену. Париж молчит, только осенние деревья в Венсенском парке тяжело шумят. В Cafe de La Paix грохот выстрела и падающего тела. Это Жан Жорес склонился простреленной старой грудью на мраморный столик. Первый и последний пацифист великой войны.

На бульварах жутко громят немецкие магазины. В палате жужжит оппозиция. Иностранные корреспонденты покупают у уличных Гаврошей ворохи вечерних газет и шлют длинные срочные телеграммы.

Русские журналисты тоже мобилизованы. Длинные, тоскливые, как изгнание евреев из Иерусалима, эмигрантские споры стали жарче и мучительнее. Свободное от споров, митингов и политических резолюций время все взрослое население русской колонии в Париже тратит на писание корреспонденций и впечатлений. Горы впечатлений! Дождь из впечатлений! Заказные пакеты везут впечатления парижских изгоев в парижские газеты.

Лучше всех впечатления у Антица Ото. Умнее всех статьи у Антица Ото. Содержательнее всех корреспонденции у Антица Ото. Они растекаются широкими и красноречивыми фельетонами на столбцах «Киевской Мысли» и «Одесских Новостей». Читатели от Могилева до Евпатории зачитываются Антицом Ото. Они видят наяву, в пестрых и ловко сделанных картинах, в умелых характеристиках и сравнениях всю великую борьбу на Западе. Они ясно представляют себе, как кипит портовая жизнь в Марселе, как умирают люди на Марне, как волки когтят в горах альпийских стрелков, как маршируют по французским улицам колониальные войска.

А сам Антиц Ото в это время колесит по всей Франции, перескакивает с поезда на поезд. Для своей газеты он повсюду успевает побывать — этот быстрый и обходительный журналист с парламентской бородкой и ловкими движениями. В Булони и в Кале, во Фландрии и в Вогезах, на артиллерийских заводах и в мастерских для искусственных носов. Антиц Ото предприимчив и наблюдателен. Вот госпиталь в великосветском отеле на Елисейских полях. Антиц Ото улыбочиво следит за тем, как «аристократка, дочь генерала республиканской гвардии, величественная блондинка г-жа Н., не дрогнув, выполняет самые щекотливые обязанности инфимьерки, делает солдатам желудочные промывания и, держа в руке сосуд, сохраняет grand air de dignite, точно героиня классической трагедии Расина». Ему нравится и профессиональная сиделка Леони, «корсиканка, очень краси-

вая мужественной красотой. Надеть ей на голову фригийский колпак, и она могла бы быть образом Республики»...

А вот «молодой араб, которого вначале сильно лихорадило, и к нему на ночь посадили наедине одну из великосветских сестер. На другое утро она решительно отказалась продолжать этот опыт. Пришлось посадить англичанина-санитара, бывшего циркового артиста, а предприимчивому арабу **тубиб** (врачиха) погрозила пальцем»...

А вот красивое пятно: «Смуглые головы в тюрбанах торчат изо всех окон и дверей. Форма хаки ярче подчеркивает экзотический тип азиатских солдат, призванных спасать французское побережье от немецкого нашествия»...

А вот англичане в Булони. «Почти из-под каждого синего зонтика наряду с фигурой торговки торчит спина и две крепкие ноги цвета хаки. Вдоль колючей проволоки раздается возбужденное взвизгивание. Несколько десятков шагов по шоссе, и я убеждаюсь, что Булонь выслала на эти передовые позиции цвет своего женского сословия. Но, с другой стороны, и англо-саксонская раса представлена здесь как нельзя лучше. Ни следа так называемой английской флегматичности»...

А вот те же англичане играют в футбол: «Англичане мигом сделали стойку и вонзились глазами в мяч. Р-ррраз! — капрал хватил по мячу носком»...

Р-ррраз! — кричит и Антиц Ото за футболистами. Ему нравится спорт, спортсмены и спорт на войне. Передавая панегирическую биографию сэра Джона Дэнтона Пинкстона Френча, «члена знаменитой семьи графства Гальвей, провинции Кеннаут», он с увлечением рассказывает, как Френч под бурскими снарядами, не моргнув глазом, рассуждал с военным корреспондентом о плохом освещении, мешавшем делать фотографические снимки. В этой кокетливой генеральской браваде Антиц Ото видит «военачальника, скрывающегося за лихим спортсменом, за смельчаком, верящим в свою звезду».

Острое, красивое нравится ему. Он тоскует по интересным жестам и значительным фразам. Он чопорно приподнимает плюшевую эмигрантскую шляпу перед постелью старого капитана, который, умирая, посылает на смерть и двух своих сыновей, но гораздо больше нравится ему маршал Жоффр, который «прибыл домой на Рождество в штатском платье, простой как всегда. Никто не скажет, что в его руках судьба Франции. Но зато он помолодел на 10 лет, уверяю вас»...

Его тоскливому, неумному, как сухая губка, честолюбию, которое порой палящим жаром прет из строки, нужны новые атрибуты. Остановившись где-то на биографии Гаврилы Принципа, застрелившего Фердинанда Австрийского, он полупрезрительно замечает, что эпоха «пистолетных героев» уходит в прошлое.

Ему нужен новый, крепкий, двенадцатидюймовый железобетонный героизм. И он ждет этого, путешествующий фельетонист с беспокойной бородкой.

II

На белой дубовой двери — старая круглая жестянка: «Классная дама». И новенький, наскоро состряпанный плакат: «Комиссариат военных дел П. Т. К.».

Где прежняя жилочка высокой строгой комнаты с целомудренно выбеленными стенами и широкими окнами на Неву? Уехала вместе со своими питомцами в Новочеркасск или где-нибудь на Елабуге отдыхает от петроградских ужасов и страстей?

Новые люди в Смольном.

У стены, подле входа в «военный комиссариат», — тесное кольцо солдат, матросов, штатских. Лица у всех безучастные, окаменевшие, серые от усталости и бессонницы. Но глазами все едят комиссара по военным делам.

Народному комиссару не впервой. Он привык выдер-

живать взгляд толпы. А как, должно быть, трудно выдерживать его на себе — благоговейный и испытующий, молящий и недоверчивый взгляд!

Троцкий привык. Он и сам каждую минуту в наступлении. Неторопливо шевелит тонкими губами и одновременно нащупывает глазами лица собеседников. Тайный вызов: верите? боитесь?

Солдатам Троцкий чужд, нов и интересен. Таких они еще не видали. Подвойские и Мураловы, Зорины и Дыбенки — все свои, понятные, взнесенные на высоту стихийной красной волной, выброшенные из недр революции, из ее кроваво-огненного нутра. Лениных и Бонч-Бруевичей они тоже знают — многогребивые интеллигенты, «учителя в спинжаках» давно ходят в народе и плохо ли, хорошо ли — знакомы с ним. Такие, как Троцкий, еще не появлялись...

Он пришел извне, снаружи. Пришел к революции, а не вышел из нее. Не русский и не иностранец. Как будто еврей, но нет — кажется, не еврей.

Со своего лица, резко семитического, он смел все национальное, все личное, свое. В умных, злых еврейских глазах поселил пустоту. От курчавой бородки оставил только один мезистофельский клочок — старый знак международных авантюристов.

Он космополит. Он играет в общечеловечность. В этом его выигрыш. Русским людям чужд интернационализм. Во всей русской литературе нет ни одного героя-интернационалиста. И десятки космополитов — людей без отечества.

Солдаты свергли Николая, своего, знакомого. Свергли Керенского. А поставили себе — чужого интернационального человека с пустыми глазами и трагическим клочком на подбородке.

Они любят Троцкого. И его глаза. И его голос — пронзительный, скрипучий, скребущий гвоздем по стеклу.

Когда Троцкий говорит, это вулкан, изрыгающий ледяные глыбы. Это Анатэма, пришедший мириться с людьми. Что он им, умный, отважно-находчивый еврей, этим славянам, неожиданно серым, лесным скифам?

Чужое — дорого. Они верят Троцкому. Он им нужен. Он даст хлеб и мир.

... Солдаты не читали статей и фельетонов Троцкого, они не знают, что Троцкий обманул их.

Что он не всечеловеческий, а свой, из Бахмута или Елисаветграда. Что он не вулкан, а хороший фельетонист. Они не знают Троцкого — газетного, сначала умеренно-пылкого автора «Писем» в меньшевистской «Искре». Потом изящного, речистого, с хорошими манерами Антица Ото из «Киевской Мысли» и «Одесских Новостей». Того, который был удобен и портативен. И свободно укладывался в нижний фельетон «Киевской Мысли». Который не старался дышать лавой, а был очень мил и разговорчив, и не было у него в глазах вселенской пустоты, этого веселого Троцкого-фельетониста.

Вообще они разнятся характером, Троцкий-революционер и Троцкий-фельетонист. Иногда они даже мешают друг другу.

Бывает, что Троцкий-фельетонист нескромен в отношении Троцкого-революционера.

Недавно в «Известиях» Троцкий гневно осуждал и упрекал всех тех, кто «не хочет уйти в историю» с трагической печатью Робеспьера. Это не по-товарищески. Если Троцкий-революционер жаждет «трагической печати Робеспьера», то зачем Троцкому-фельетонисту об этом разбалтывать?

Ведь от Троцкого-революционера ждали не трагической печати, а мира и хлеба.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Еженедельник «Куранты искусства, литературы, театра и общественной жизни». Киев, 1918, № 8 (сентябрь), с. 8—9.





Мая Табака.
«ЦЫГАНСКАЯ НОЧЬ» (фрагмент)



МАЙЯ ТАБАКА

«Я воспринимаю очень трагично то, что в мире знают «советское» искусство, не имея представления о региональных традициях, не похожих на российские. Западные галерейщики, побывавшие в Латвии, удивлены, кажется, тому, что традиции Балтии ближе к скандинавским и шведским, что они увидели искусство не русское. Человеку любой национальности, если он живет здесь, при нашем влажном воздухе его кристаллы дают особое цветовое ощущение, т. е. в Латвии у нас даже зрение другое».

«Наша Академия художеств чувствует возрастание интереса к своему стилю работы и даже спрос на него, поскольку тот в большей мере, чем в Эстонии и Литве, развивает индивидуальный талант. При том, что во многих западных школах отучились рисовать руками — компьютеры или приклеенная женская поношенная туфля плюс радиатор, плюс туалетный горшок — все это, хоть и в позолоченном виде, уже надоело. Американскому искусству сейчас особенно свойственно «приближение» к человеку, направленность на неоренессанс. Поэтому академия ценна в плане подготовки рисовальщиков, что не так просто, как кажется. Это работа не столько с натурой, как с

самим собой по воспитанию идеалов, стиля и ритмики».

«В 60-е годы в Академии художеств были массовые исключения. Меня ведь тоже исключили под видом будто бы неуспеваемости. Первый курс, в который я вошла, был очень удачным, всегда «готовый к прыжку». Мы приезжали в ленинградские музеи, Эрмитаж, подолгу рассматривали коллекцию французской живописи — и я помню, как каждые три недели менялся мой почерк, то Сезанн, то Сера — все по очереди. В небольшой период 1960—1961 гг., пока в культуре не стал править Хрущев, в Москве бывали выставки из Польши, Чехословакии, я помню одну французскую, где встречались абстракции и очень интересные для нас стилизации, формы и фактуры».

«Летом здесь (в Лиелупе) на даче жил Саша Дембо, и у него бывали знаменитые еврейские люди — семья Айвы Литвиновой и Эмми Лоуренса, — из советской дипломатии, связанной со многими прогрессивными явлениями. Через Таню Литвинову я попала в среду литературного авангарда. Я подружилась с Галичем, с семьей Галича. Эта дружба вывела наше поколение — мы тогда были двадцатилет-

ними, Бруно Василевскис и я, — компанию Ланцманиса на авангард диссидентский и особенным образом повлияла на нас. В конце семидесятых я подружилась с авангардистами в искусстве — Таней Назаренко, Наташей Нестеровой, Сашей Ситниковым, Олей Булгаковой. В начале 80-х мы устроили им выставку. Этот выход на поверхность всеобщего внимания через Прибалтику был для них очень важен. Им подсказали, что надо попробовать выставиться сначала в Риге. И действительно им это помогло».

«Валдис Аболинь с намерением привезти Латвийскую выставку в Дюссельдорф приехал в 1973 году. Впервые нас, 20 человек с картинами, показали западному зрителю, хотя попытка была неудачной. Аболиню хотелось представить пять художников, нам — сесть в одну лодку всем. Но западные купцы любят получать то, что просят. В общем он был немного раздосадован. Затем Валдис переехал работать в Берлин «Neue Gesellschaft für Bildende Kunst», с которыми теперь поддерживаем теснейшие контакты (в 91-м году в Риге пройдет шоу-программа, представляющая все, что есть в берлинском искусстве, даже варьете.) В память о деятельности В. Аболиня у нас проводилась мемориальная выставка в 87-м году.

Сейчас модель «пробивания» своих идей в Союзе художников уже не годится. Мы даже не знаем, как будет определяться уровень культуры, чтобы существовать по западному образцу, нам нужны галереи, открывающие свои программы, включающие обмен выставками из разных стран. (В Берлине, например, 90 галерей.)»

«Авангард особенно отталкивает с первого взгляда. Я сужу по своим любимым художникам, как Миервалдис Поллис и Хардийс Ледыньш. Когда я в первый раз вижу то, что ими сделано, мне хочется сказать: ох, дальше некуда. Но проходит полгода, и неординарное, уникальное их творчество находит себе место в моей душе».

«Но я не рассчитываю на легкого зрителя, думаю, мой авангардизм в том, что я пишу как бы закрытыми глазами. Это транссовая работа. В каждой картине нечто новое открывается подсознанием, и на картинах реализуются в зримом виде биотоки и энергия, которую зритель воспринимает как беззвучную и излученную мысль. Фигуры не отбрасывают тени, но ощущение пространства остается, потому что я работаю в трех измерениях, и трехмерное видение у меня внутри».

«Я сама люблю картину «Цыганская ночь», на которой писались страсти людские. Нина Данченко и Сандо передали мне страшные, дикие легенды, захватывающее дух переживание».

«Мои отношения с моделями сравнимы с отношением режиссер—актер. Вместо эскизов и рисунков мы делаем фотографии. Сначала возникает тема, затем я заставляю модель двигаться, принимать позы, примерять прозрачные ткани etc. Пока длится наш перформанс, возникают образы».

«Я отказалась от цыганской темы, потому что мир этого народа закрыт для нас, эти люди пребывают в другой цивилизации. И если вы видели мою картину «Старое латышское кладбище», то дух, осеняющий старуху, неслучайно выглядит при теперешней духовной ситуации её отображением».

Ноябрь, 1989

Записала
Лена Лисицына.

ПОСЕРЕДИНЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ*

Эти заметки я начинал как описание APTART, событий, происходивших в его рамках в 1982—1984 годах; кроме этого, я хотел проанализировать, по возможности объективно (хотя непосредственному участнику описываемых событий это и довольно трудно), стиль, который проявился в APTART. Однако этот текст раздулся до более общих рассуждений.

Стиль, процветавший в APTART, в расхожей речи приобрел условное название «новая волна». Название крайне неясное, не имеющее, по сути, никакого смысла, кроме того, что обозначает нечто новое, во-первых, а во-вторых, текучее и способное нахлынуть и отхлынуть. Волна может быть ростом с десятиэтажный дом, а может быть рябью на поверхности какого-нибудь лягушачьего пруда, которую заметить можно только при большом желании. Но, поскольку эта «новая волна» — явление искусства, и в связи с тем, что искусство — это нечто глобальное и не поддающееся в настоящее время втискиванию в региональные или политические границы, то вполне можно заявить, что несравнимая по произведенному шуму и брызгам местная «новая волна» является составным элементом мирового явления с тем же названием.

У этого явления имеются и другие названия, лучше определяющие его сущность, подходящие к вопросу одновременно и шире, и более конкретно. Например, «трансавангард» (термин, прилагающийся, правда, прежде всего к итальянским художникам, но вполне применимый и к прочим). Ясно, что термин этот базируется на понятии «авангарда» — того авангарда 10—60-х годов этого века, которого как четко определенного феномена не существовало раньше и, вполне возможно, не будет больше. Авангард по своей сути линейен, более того, эсхатологичен, он направлен вперед и только вперед, к светлоте будущего, катастрофе, Царству Божьему, он нетерпелив, старается опередить время, убежать как можно дальше вперед, узнать, что же там, и быть первым в этом знании. Иногда эта лобознательность оказывается чрезмерной, и тогда авангард не продуцирует ничего, кроме собственного бега вперед, что в общем-то тождественно стоянию на месте, кроме того, грешит против новозаветной рекомендации не слишком интересоваться приметами и признаками приближения вечности. И вот: «заавангард». Художники не могут перестать искать новые средства выражения, потому они и художники; но они начинают понимать, что поиск нового не обязательно заключается в гонке по автобану, они не могут избавиться от «поискового поведения» (кажется, этот термин придумал Фарли Моуэтт) и начинают искать по-другому, в разные стороны, в том числе назад.

Второй термин подходит к вопросу еще шире: «постмодернизм». Ясно, что под модернизмом имеется в виду не только и не столько «modern art», по сути дела синонимичный «авангарду», а весь ментальный комплекс, породивший социальный и научно-технический прогресс в его господствующем понимании, то ощущение мира, которое дало заряд столь различным по своим этическим и религиозным основам людям, как Федоров, Циолковский, Пьер Тейяр де Шарден, Малевич, Бакминстер Фуллер — если говорить о культурных и религиозных деятелях; но той же энергией питались и теоретики коммунизма и социализма.

Разумеется, было бы глупо и бессовестно заявить, что модернизм вреден как таковой. Это делалось уже не раз

и ничего, кроме вреда, не приносило. Он стимулирует людей делать что-то новое, призванное облегчить «условия человеческого существования», улучшить «качество жизни».

Поэтому — не антимодернизм, не контрмодернизм, а постмодернизм. То есть такая ситуация, когда однонаправленное движение закончилось и процесс переходит в стадию разрастания в разные стороны. Это наверняка не распыление, а просто новый этап существования.

И, наконец, третий термин, наименее популярный, но наиболее, на мой взгляд, адекватный: «art after movements». Этот термин, говоря, вроде бы, только об искусстве, переходящем в беспрецедентную (во всяком случае, за все время существования современного искусства) фазу децентрализации, на самом деле обозначает самые важные аспекты происходящих изменений. Речь идет о плюралистической децентрализации общества, индустрии, политики — всего того «технэ», «know-how», благодаря которому существует человеческий род. Это утопическое желание противостоять тоталитаризму политических, идеологических, информационных, индустриальных систем методами личной ответственности перед Богом, природой, братьями по разуму — *ad libitum*. Долой монополии, долой государства, долой централизованное обучение, долой машинообразный «художественный мир»! Ясно, что эти анархические призывы утопичны и практически неосуществимы, во всяком случае до сих пор. Ясно также, что в действительности, покуда осуществляется все большая централизация, и идеологический пресинг все возрастает. Но установка, рождающая такие декларации, плодотворна хотя бы уже потому, что дает возможность отдельной личности тренироваться в противостоянии «доминации». И в настоящее время это еще более актуально, чем в эпоху Торо, — как в области политики, так и в области искусства. Мы уходим все дальше и дальше в «прекрасный новый мир».

А «новая волна»? Это, значит, очередное нечто, залившее черту прилива, перемешавшее пену и песок? А через некоторое время придет новая волна и снова что-то изменит. Так что из соображений скромности лучше пользоваться этим термином. У новой волны последнего десятилетия есть легко различимые черты. Это фактурность, яркость, экспрессивность, склонность к странным очертаниям материалов, чувственная наполненность. Это естественно, поскольку она явилась реакцией на совершенно определенные явления предшествующего времени. Это касается не только визуального искусства, но и литературы, музыки, архитектуры, кино. Во всех этих областях произошли важные изменения. «New-Wave» в рок-н-ролле, новая стилистика комиксов, постмодернистская архитектура, видеоклипы, книги, сознательно балансирующие между «бульварной» и «высокой» литературой, новые тенденции в моде, сочетающие дешевое и дорогое, красивое и уродливое, старое и сверхсовременное — все это явления одного порядка, одного корня, знаки изменившегося отношения. Везде видно одно стремление — посмотреть с нескольких точек сразу, спереди и сзади, сверху и снизу, назад и вперед; и до поры не выносить окончательного суждения.

В области визуального искусства наиболее важными явлениями, вызвавшими изменение, были концептуализм и минимализм (в других областях легко находятся эквиваленты). Концептуализм и минимализм, внешне разные, на деле братья-близнецы, это два последних больших всплеска авангарда, стремившихся к созданию собственного законченного языка и в большой степени создавшие

* Никита Алексеев родился в Москве в 1953 г., окончил художественное училище п.м. 1905 года, художник. Живет в Париже.

его. Разумеется, слова некоторых концептуалистов или минималистов о том, что они создают совершенно окончательное искусство, воспринимались или же достаточно иронично (во всяком случае, трудно представить, чтобы в 60—70-е годы кто-либо мог совершенно серьезно провозглашать манифесты, возможные полвеком раньше), но сам факт произнесения этих слов очень важен. Ведь пафос этих двух течений заключается в модернизме, в исповедании идеи линейного прогресса. Художники, принадлежавшие к этим направлениям, в глубине придерживались теории о том, что художественный прогресс (даже если он очень эзотеричен) может привести к созданию абсолютно чистых произведений. При этом надо помнить, что зачастую искусство воспринималось как наиболее продвинутая форма проявления человеческого сознания («Искусство после философии» Кошута). Это касается не только наиболее пуристского, лингвистического ответвления концептуализма (Art & Language, Вене, Кошут) или таких «чистых» минималистов, как Джада, но и художников Новой венской школы, боди-артистов или ерников вроде Аракавы.

Научным методом, без которого концептуализм и минимализм не могли бы существовать, был структурализм. Структурализм очень широк, он, оставаясь собой, вмещает в себя таких разных ученых как Молье, Бензе, Элиаде, Барт и даже Кастанеда. Различно ориентированные художники выбирали из структурализма по вкусу.

Опять же боясь надоесть своей «диалектикой», я позволю себе вспомнить, что концептуализм и минимализм, через предшествующие поп- и оп-арт, «новый реализм», информель и хард-эджд, явились реакцией на разнузданность сюрреализма и абстрактного экспрессионизма. А структурализм вырос на руинах описательной философии и искусствознания XIX века. Ну и конечно — романтическая ирония не родилась бы на свет без серьезности классицизма и барочной любознательности.

Все это длинное и банальное рассуждение понадобилось мне, чтобы перейти к непосредственной теме — к тому, что происходило и происходит в среде «молодых неофициальных художников» Москвы с конца 70-х до настоящего времени, когда половина декады уже прожита и можно подводить предварительные итоги.

То, что делается в Нью-Йорке, Милане, немецких центрах или Париже, касается и Москвы, разумеется с важными отличительными чертами. Они иногда настолько разительны, что позволяют некоторым наблюдателям говорить, что «советский авангард» — это нечто совершенно специфическое (далее оценка может меняться от дифирамбов по модусу «de orientis lux» до огульной ругани его как безнадежного болота, чего-то совершенно провинциального, хилого и запоздавшего лет на 25). На мой взгляд, это неправильно. Конечно, советская ситуация уникальна, она почти не дает художникам возможности посмотреть на себя со стороны, и из-за этой изоляции у них часто развивается либо мания величия, либо комплекс неполноценности, либо и то и другое вместе. Кроме того, эта изоляция поощряет замыкание в себе, она стимулирует «подпольное сознание»: мол, и не надо нам никаких галерей и журналов — благо это и невозможно. Однако изоляция все же не абсолютна, нельзя сравнивать теперешнее положение с 40—50 годами, когда вообще ничего было нельзя и, по рассказам одного художника, старую репродукцию Сезанна студенты Суриковского института показывали друг другу тайком в сортире. Более того, произошла очень важная вещь: наше «новое искусство» преодолело временное отставание, изменения, происходившие здесь, были практически синхронны изменениям, происходившим в больших центрах мирового искусства. И это не благодаря погоне за информацией (хотя, естественно, факт того, что чтение очередного номера «Art Forum» перестало восприниматься как совершенное чудо, очень важен), а благодаря тому, что здешнее искусство, несмотря ни на что, начало осознавать себя как часть общего процесса.

Но, конечно, разницы колоссальны, они больше, чем, скажем, между американским, французским, итальянским, немецким вариантами. Это не только потому, что мы живем за чугунными жалюзи, а потому, что русская культура, вполне естественно породившая советскую, отличается от западных значительно больше, чем они между собой.

Эта уникальность культурного опыта позволяет некоторым из здешних художников иногда впадать в нечто, что, по-моему, отдает шовинизмом. Они не только начинают чувствовать в себе *übermensch* или пророка (это может

случиться со всяким), но опираются при этом на совершенно исключительную и призванную просветить мир «русскую идею». Спора нет, она исключительна, как и все прочие традиции — и все они в идеале должны сфокусироваться в «точке Омега». Традиция противопоставлять родное всему прочему у нас давняя: «Христианство у них пестро стало, и вообще, мы хоть зодиев и не наблюдаем, но, глаз пристрелявши, в самое нутро истины зрим». Это может вызывать умиление в глубочайшее уважение — в тех случаях, когда это говорят люди, имеющие право, благодаря силе своей личности и качеству работ, говорить это. Но таких людей немного; и те, кто знают, обычно молчат.

Уникальность культурного опыта приводит еще к одному казусу — своеобразному затворничеству. Два очень ярких представителя такого случая — Штейнберг и Шварцман. Очень интересно интервью Штейнберга в книге «По мастерским», где он предается ностальгии по 60-м годам, по тогдашней келейности, по тому, что тогда никто якобы никуда не лез, все было тихо и ясно, и можно было спокойно заниматься чистым искусством. В ту пору мне было слишком мало лет, чтобы я мог оценивать тогдашнее положение по собственному опыту. Но тем не менее я уверен, что позиция Штейнберга неверна. Затворничество органично и плодотворно при условии существования «художественного мира» или устойчивого канона, как это было в случае с китайскими и японскими отшельниками, как это было с иконописцами, как это было, наконец, с Сезанном. Но в 60-е «художественного мира» вне официальной художественной среды не было, было подполье, а затворничество в подполье — это сектантство. Положение Шварцмана еще более поразительно. Этот великодушный художник обижается, когда слышит, что его живопись чудесна, изумительна, поразительна: для него это не живопись, а свидетельство. Может быть, это и так, не мне судить, я не духовидец, но где же противоречие между свидетельством и качеством живописи, передающей эту таинственную истину? Видимо, дело в том, что искусство в этой стране — это в очень большой степени способ выживания, и поэтому иногда оказывается легче взвалить на себя невероятную ношу пророка (неважно, истинного или нет, ответственность одинакова), чем принять более скромное положение художника.

Я позволил себе эти рассуждения о Штейнберге и Шварцмане, опять же не имеющие прямого отношения к делу, потому, что без этих художников и без этой тенденции пейзаж неофициального искусства Москвы немислим, и многие поступки и работы возникали как прямая реакция и полемика по отношению к тому, что глумливо было наречено «духовкой» и «нетленкой».

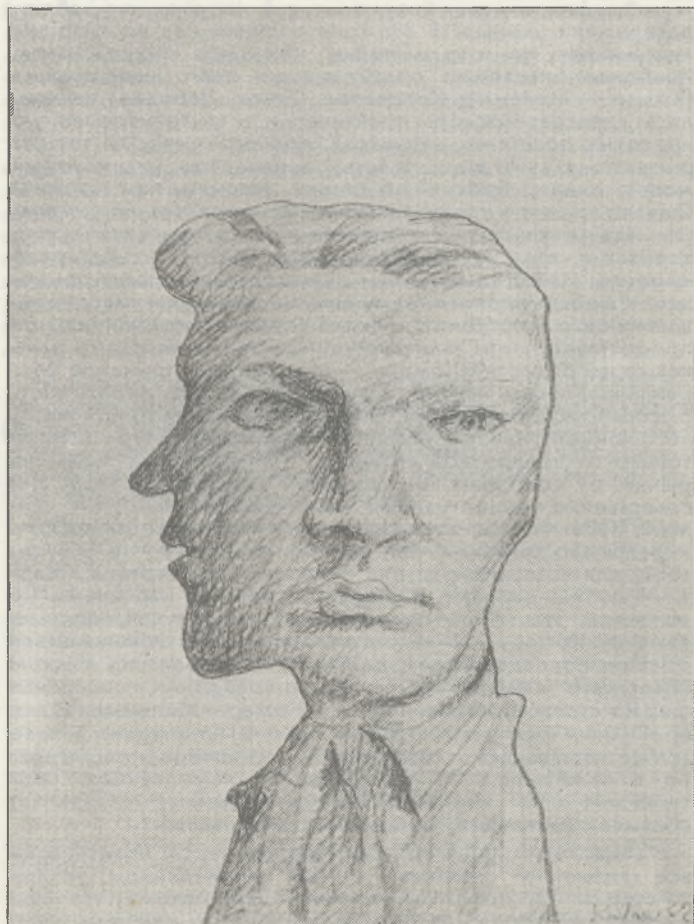
Теперь о более конкретных различиях между современным западным и здешним искусством. То, что ни одна другая культура (во всяком случае, европейского корня) не является настолько идеологичной и амбивалентной, как здешняя, — не открытие. Поэтому концептуализм в Союзе принял черты, резко отличающиеся от западных вариантов. Минимализм здесь, за исключением Чернышевой и некоторых работ Юликова, вообще не укоренился. Его идеалистический протестантизм, стремление к максимальной редукции настолько противоречат здешней атмосфере, что пытаться работать здесь в русле минимализма значит заниматься совершенно чистым, стерильным искусством. В русле же широко понятого концептуализма здесь, за исключением Герловиных, никто не пробовал делать «жесткие», «истинно-концептуальные» вещи. Их результаты, на мой взгляд, довольно скромны. Юра Альберт, концептуалист из московских концептуалистов, принадлежит все же к иной генерации, это уже «нововолновский» концептуализм. Вещи «Коллективных действий», особенно среднего периода (80—82 гг.), при всей их прозрачности, сухости и выверенности схемы, были в глубине совершенно психоделичны, в них оказывались какие-то ямы, куда зритель-участник проваливался, и там уже не было речи об общекультурном контексте.

В основном же здешний «концептуализм» разделился на два потока.

Первый — это вариант, разрабатываемый прежде всего Кабаковым. Можно и стоит ли его называть концептуалистом — это вопрос. В широком смысле, видимо, можно. Это практически универсальный художник, явно оказавший самое большое влияние на формирование неофициальной художественной среды в Москве. Это почти «культурный герой». Объяснять, чем он занимался, излишне, об этом сказано уже очень много.



1. Э. Булатов, Портрет Вс. Некрасова. 1981
2. А. Филиппов, «AVE!». 1987
3. Н. Алексеев, Пространственная графика. 1985
4. Э. Булатов, Иду. 1975
5. И. Кабаков, Голова мужчины. 1962



Прекрасный источник, говорящий о культурной жизни 70-х годов и о работе самого Кабакова, — его текст «Семидесятые годы». Все, что я бы по этому поводу написал, было бы в очень большой степени повторением его мыслей. Я позволю себе только заметить, что позиция Кабакова удивительно органична и действенна для целого поколения, живущего и работающего здесь. Он прекрасно понимает все ужасы и несуразности здешнего существования и стремится, что ему очень часто удается, сохранить в цельности свою художественную личность. Для этого он создал систему методов взаимодействия с действительностью. Успех и заслуга Кабакова (не говоря о чисто артистических достоинствах его искусства) заключаются еще в том, что ему удалось передать эти спасительные методы «рисования всего» и другим людям. Иногда он (в значительно меньшей степени, чем другие художники этой генерации, например, Булатов) погружается в магическое заговаривание страшного мира — но постоянно сохранять невозмутимость почти невозможно. Однако, как всякий настоящий художник, Кабаков историчен — и в его историзме есть историческое значение. Его позиция и его искусство естественны для его поколения, для людей, помнящих сталинское время всем своим существом. Они выросли в тени сапог, повзрослели в оттепель и достигли акме в пору разрядки, накопив огромную творческую энергию, но не изжив страха, впитанного нежной детской кожей. Люди же моего поколения и более молодые — дети 68-го и разрядки, у нас нет того опыта. Советская власть начала пугать нас позже и по-другому (очень показательны слова Кабакова о том, что середина 70-х была для него пиком страха — для моих сверстников это был апогей надежды и веселья), и хотя бы поэтому жить и работать, как Кабаков, для нас невозможно, это было бы стилизацией.

Второй поток — это то, что приобрело название «соцарт». Интересно, что это в основном художники, занимающие по возрасту промежуточное положение. Соцартисты — это люди эпохи анекдотов, кукурузы, физиков-лириков и повальной эмиграции. Они оказались способными подойти к действительности, в которой их прежде всего интересовала социальная мифология, легче всего поддающаяся рациональному интерпретированию (мир вверх тормашками, игровая теория и т. д.), как внешние наблюдатели, как ученые. В этом их отличие как от старших художников, так и от молодых, например «Мухоморов». Наиболее блестящие представители этого направления (Комар — Меламид, Косолапов, Соков, Лебедев) ухитрились трансвестировать практически всю табуированную иерархию советских ценностей, превратить ее (на тот период, пока участвуешь в игре) в какой-то мяч, который можно пинать, бросать об стенку, загонять под кровать. Однако то, что у талантливых художников давало замечательные результаты, в том числе и психотерапевтические, в руках у эпигонов вернулось к анекдоту, из которого выросло. Метод соцарта был очень удобен и легко приложим к любым проявлениям социума, но эта легкость пользования его и погубила. Однако хорошим художником он предоставил почти неограниченные возможности (в рамках своей области). Комару — Меламиду в принципе безразлично, писать картину в духе маньеризма, делать абстрактный экспрессионизм, пользоваться стилистикой жесткого концептуализма или лубка. Внешняя фактура зависит только от конкретной ситуации: темы работы, моды на рынке, от соображений экономии времени. В этом они совершенно концептуальны, значительно более, чем, скажем, Кабаков, для которого стилистика, фактура работы неразрывно связана с ней самой; не говоря уже о Булатове, для которого картина — это именно картина. «Картинные» же картины Комара—Меламиды картинами не являются, это нечто, переодетое в картину. И, как мне кажется, Комару—Меламиду следовало бы отмежеваться от своих последователей, для которых, выражаясь языком советского официального искусствоведения, соцартная форма стала содержанием. Но Комар—Меламид более ироничны, чем члены группы «Art & language», в свое время написавшие открытое письмо, в котором решительно отмежевались от нью-йоркских самозванцев, присвоивших себе название «концептуализм», а «Трактат о языке» Витгенштейна даже не открывавших.

В соцарте есть еще одна интересная черта: практически все художники, связанные с этим направлением, уехали из страны. Это естественно, и не только потому, что игра с советской идеологией могла привести их к крупным не-

приятностям (это само собой разумеется), но потому, что полностью развернуться, проявить свои потенции они могли только находясь на реальном пространственном и социальном расстоянии от темы своей деятельности.

К концу семидесятых годов художественная атмосфера в Москве (я имею в виду, естественно, тот круг литераторов, художников, музыкантов, к которому принадлежу сам) была вполне определившейся и устойчивой, а иногда и застойной. После бурь и надежд (а как считает Кабаков, апогея страха) наступило время затишья. Происходили кое-какие выставки, люди работали, но чувствовалось, что что-то должно измениться. Появлялись новые художники: в это время объявились Мухоморы, возник СЗ, начали работать Ю. Альберт и Надя Столповская. Тогда же был организован МАНИ, что, на мой взгляд, сыграло большую роль в дальнейшем развитии дел. Хотя этот «архив» и выглядел достаточно убого, и качество подачи информации оставляло желать большего, но тем не менее оказалось, что хождение по мастерским и эпизодические выставки не могут дать синхронного представления о происходящем с «новым искусством». МАНИ, хоть и несколько волонтеристски, но показал почти всех художников Москвы, связанных с этим «новым искусством», и позволил увидеть весь спектр тенденций. Кроме того, и это очень важно, материалы, публикуемые в нем, создавали контекст, в котором можно было сравнить мнения, «сравнить мифологии». Для этого была предназначена и круговая анкета, которую пытался провести Вадим Захаров. Эта затея кончилась скандалом. В опроснике на самом деле были слабые места, но реакция некоторых художников показала непривычку говорить открыто друг о друге и отвечать за свои слова. Захаров приобрел репутацию хама, от которой отделался не скоро.

Ну так вот, к концу семидесятых — началу восьмидесятых и мне, и моим друзьям, составившим впоследствии ядро АРТАРТ, стало ясно, что мы занимаемся чем-то другим, чем наши учителя. Учителя были у всех, у разных людей разные учителя, но все так или иначе проходили выучку, стажировку. Для меня учителем был Кабаков, хотя формально он меня ничему не учил, и я могу только извиниться, если он мое заявление воспримет как беспардонное набивание в ученики; столь же важным было для меня время работы в «Коллективных действиях», оказавшееся своего рода «аспирантурой». Работа в «Коллективных действиях» требовала зачастую отказа от собственных идей — просто потому, что именно идеи Андрея Монастырского были тогда наиболее плодотворными, и работы, сделанные по его идеям, были самыми удачными, во всяком случае, самыми репрезентативными, создавшими лицо группы. Вещи, задуманные прочими членами группы, делались ими, в общем-то, на свой страх и риск, при молчаливом и весьма осторожном участии главного «коллективного действующего». В этом ничего плохого тогда не было: вещи Андрея были наиболее адекватными лицу группы, той конвенции, которую предлагали «Коллективные действия» и которую члены группы, естественно, должны были разделять. Для меня в определенный момент конвенция эта начала терять живой смысл (свою точку зрения я в свое время изложил в статье «Жизнь после смерти») — меня начали интересовать другие вещи, вернее сказать, я вернулся на пресловутом «новом витке» к своим работам начала 70-х, весьма сырым и ювенальным, но, как мне кажется, более соответствовавшим мне самому. Те вещи, которые я пытался делать в «стиле» «Коллективных действий», у меня попросту не получались, а те, в которых я себя отпускал на волю, — не вписывались в корпус «Коллективных действий».

Но эти внешние, художественные аспекты ментальности связаны с более глубокими экзистенциальными потребностями — с потребностью воспринимать человеческую сущность целиком, а не в качестве комплекса культурных знаков или трансцендированного сознания. Это что-то вроде «человеческого» из «Волшебной горы» Манна. Отсюда и отношение к любой тематике как к «туфте» — неважно, что это: политика, секс, философия, природа или «духовка-нетленка». Ясно, что дело не в нигилизме, а в попытке незакавыченной речи в совершенно знакомом мире. Об истине можно говорить на любом языке — и на языке урлы, и на языке дипломатов. Можно, но трудно. И отсюда ирония. Тут кстати вспоминается анекдотический случай, произошедший на первом показе АРТАРТ. Посмотрев экспозицию, Янкилевский, разъяренный, уже надевая пальто, возмущенно восклицал: «Да вы понимаете,

куда они зовут? Они же зовут в вакуум!» — и тут заметил висевшую в прихожей работу Мухоморов «Айда в вакуум!». Заметил и ушел в плерому. То есть во всем этом была «отрицательная теология», апофатическое юродство, «дзэн-панк/панк-дзэн», «вы мудаки, я тоже, посмотрим, кто больше», — «Идиоту хорошо, ой хорошо! Достоевский написал, как красив идиот!» (строчка из песни С. Рыженко, написанной в то же время и весьма тогда популярной). Разумеется, все это касается прежде всего первой фазы «новой волны», что дальше — будет видно дальше, но тогда идиотизм, вернее сказать, мудаковатость в сочетании с изощренной несерьезностью были *à la vogue*. Возможно, не все участники APTART со мной в этом согласятся, но, по-моему, это так.

Помимо приглуповатости, очень важен был демократизм, без которого невозможна открытость. Этот демократизм, выход или, во всяком случае, попытка выхода из рамок «artworld» является очень важной чертой искусства 80-х годов. Одиозен пример Лори Андерсен, занимающей ныне почетные места не только в хитовнике элитарного искусства, но и поп-культуры и ничего при этом не потерявшей. В нашей стране демократизм вообще небывалое явление, если его у нас и видели, так в камуфляжной форме «народничества»; поэтому наши слабые попытки в эту сторону, как мне кажется, могут быть расценены как одно из самых важных достижений. Результатов, разумеется, не было почти никаких, кроме популярности «Золотого диска» Мухоморов, сыгравшей фатальную роль в их судьбе и помогшей им переодеться во вполне народную советскую военную форму. Но важна сама тенденция.

Здесь, похоже, не обошлось без влияния рок-н-ролла, первой за очень долгое время «всемирной» музыки. Рок-н-ролл слушают почти все люди младше сорока лет, живущие в разных странах и в разных социальных условиях, и выбирают из него то, что им больше подходит. Но сам ритм и то мироощущение, которое несет рок-н-ролл, у них уже в крови, даже если они это не всегда понимают. Это универсальный язык. Очень важны слова Франка Заппы, одного из цитируемых этого языка, о том, что рок-н-ролл он воспринимает как росток нового народного искусства. Народного искусства постиндустриальной эпохи. Советский Союз еще не вступил в эту эпоху, но для того, чтобы выжить, ему придется в нее вступить, и стоит заранее задуматься о тех изменениях, которые эта эпоха может принести. Время линейного прогресса явно кончается; я ничего не понимаю в электронике и биоинженерии и совершенно не склонен к сциентистскому утопизму, но мне кажется, что появление всех этих хайтековых гаджетов является чрезвычайно важным событием. В идеале речь может идти о децентрализации многих основных областей экономики и индустрии, о возвращении к ремеслу на новом этапе. И, поскольку все взаимосвязано, анархическая пестрота ньюеверских граффити — явление однородное с микроэлектроникой. Разумеется, пока что все катится в сторону еще большего тоталитаризма, но важна сама возможность регуманизации искусства, возвращения художнику статуса художника, мастера, хорошо делающего свое дело. «Каждый человек — художник», — сказал Бойс, а Аристотель сказал: «человек — общественное животное». Оба правы, и из этих двух правильных заявлений следует, что изделия художников, т. е. всех людей, должны приносить какую-то (всевозможную) пользу всем людям, т. е. художникам, иначе общество перестанет функционировать, и не будет ни художников, ни общества. Тут еще об экологии стоит вспомнить, о том, что не бывает абсолютно бесполезных или вредных существ. Мне трудно рассуждать об обществе в целом, но ясно, что варварские методы регуляции и воспроизводства культурного поголовья, применяемые в этой стране, смахивающие на памятные кампании по борьбе с волками и воробьями и по всеобщей мелиорации или ирригации, наносят огромный ущерб культуре. Даже если существа, записанные в разряд вредных и бесполезных, на самом деле таковыми выглядят.

...Итак, к 82-му году было наработано достаточное количество вещей, выяснилась ориентация отдельных художников, и, главное, стало ясно, что надо показывать сделанные работы. Никаких реальных возможностей для этого не было, оставалось одно — квартирные выставки. Эта форма показа работ здесь хорошо известна и многократно использовалась. Но раньше это были либо салоны, хозяева которых были движимы меценатскими или ком-

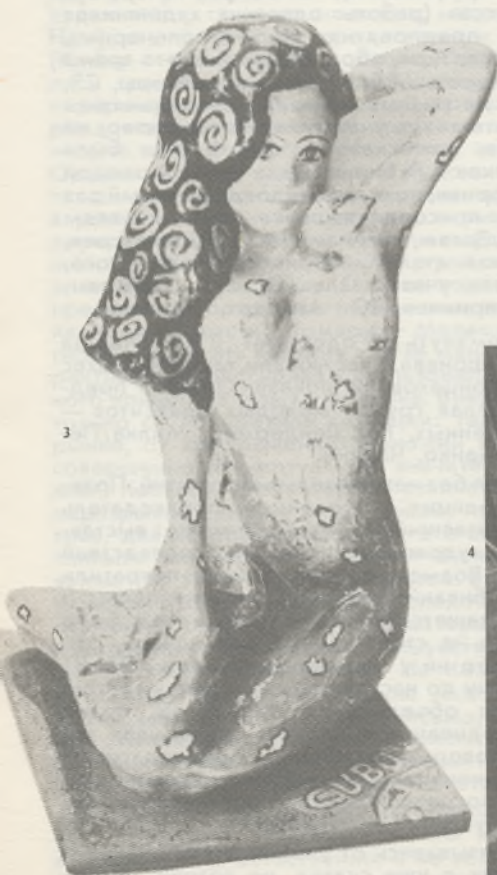
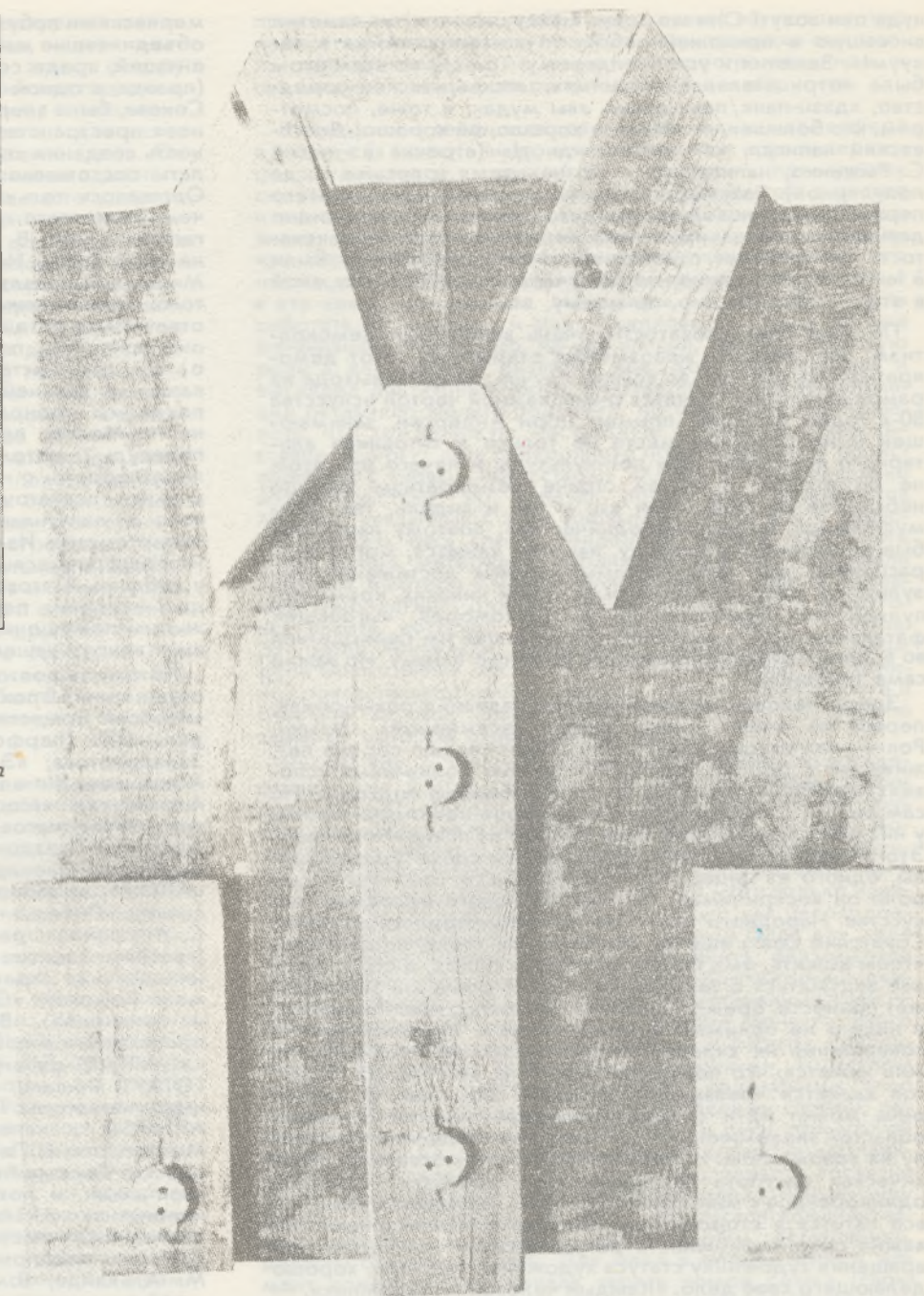
мерческими побуждениями, либо эпизодические события, объединявшие множество художников самых разных ориентаций, вроде серии квартирных выставок 75—76 годов (правда, в одной из таких квартир, вернее, в мастерской Сокова, была впервые сделана попытка создать «галерейное» пространство). Нас как раз и интересовала возможность создания «галереи», места, где можно было бы делать постоянные экспозиции, играть с пространством. Оставалось только найти жилплощадь. Вариантов, впрочем, было всего три: квартиры Рошалья, Абалаковой / Жигалова и моя. В результате размышлений остановились на моей: Толя и Наташа живут слишком далеко, а квартира Миши представлялась уж слишком одиозной и, кроме того, принадлежала родителям — а зачем родителям отвечать за детей? Названия APTART тогда еще не было, оно появилось после первой выставки, как и заявление о том, что выставки APTART — это не выставки, а показы — в дальнейшем я так и буду их называть. Первый показ мы собирались открыть в сентябре 82-го года, но по Москве пошел слух, в результате чего начались пересуды, а потом — и вызовы на «беседы»; мы занялись переговорами с начальством Союза художников, оказавшимися достаточно бессмысленными; потом последовало и запугивание со стороны сотрудников другого департамента. Из-за этих событий мы открыли свой показ на полтора месяца позже. Он вроде бы вызвал интерес у публики. Разговоров было много, да и публики тоже — для «галереи» площадью 18 м², являющейся к тому же жилым помещением, и при нашем желании не раздувать шум вокруг нашего первого предприятия.

Потом, за полтора года своего существования, APTART осуществил 18 показов и однодневных событий: APTART-1; «Кто сей божественный фиал разрушил как сосуд скудельный?» (перформанс «Мухомора»); показ живописи Звездочетова; «Эти славные 60—70-е» (акция TOTART; Абалакова, Жигалов); перформанс СЗ; «Тусовка» (акция Алексеева); «Моща» (перформанс «Мухомора»; Гундлах, Звездочетов); «Декоратор и жизнь» (2-й показ живописи Звездочетова); показ СЗ; «APTART в натуре» (групповой пленерный показ в Калистово, под Москвой); «APTART за забором» (групповой показ на даче в Тарасовке); «Победа над солнцем» (групповой); показ работ С. Ануфриева; работ В. Захарова; «Для души и тельца» (графика Алексеева и скульптуры Звездочетова); «Дальние дальние страны» (групповой); «Пиль-фас» (перформанс Рошалья); «Одесса» (работы одесских художников и Алексеева). Все предприятия, кроме пленерных, происходили в моей квартире, обозначаемой на это время как APTART-gallery. Ядром APTART были Мухоморы, СЗ, TOTART, Рошаль, но на разных показах присоединялись и другие авторы. Почти везде участвовал Кизевальтер; на APTART-1 в качестве, так сказать, «guest-stars» были Монастырский, Панитков и Рубинштейн, а также молодой одессит Сережа Ануфриев, показавший тогда в первый раз свои вещи, и потом присоединившийся почти ко всем инициативам APTART. Затем, начиная с «APTART в натуре», деятельным участником стал А. Филиппов. Кроме того, в наших предприятиях участвовали: Д. и А. Приговы, М. Алькайде, В. Куприянов, Ю. Альберт, Черняев...

Отдельно надо упомянуть об одесситах. В «APTART за забором», кроме Ануфриева, участвовали также К. Цахес (Лариса Резун) и Л. Войцехов. На показе «Одесса» представила свои вещи целая группа молодых одесситов — кроме уже перечисленных, Ю. Лейдерман, Милка/Пец, Маринюк, Музыченко, Чацкин.

APTART-1 произошел без нежелательных событий. Правда, нас посетили милиция и покойный председатель МОСХ В. Тальберг, сказавший, что «все это может выставляться в залах Союза художников». Никаких последствий эта фраза не имела. Возможно, если бы мы потратили больше энергии на обивание порогов, писание писем и т. д., то... но, мне кажется, это правильно, всем было ясно, что игра просто не стоит свеч. В дальнейшем это подтвердилось тем, что ни у кого из участников APTART (кроме меня, поскольку до настоящего момента я состою членом молодежного объединения МОСХ) не брали работы даже на однодневные выставки, оправдывая это «нечленством». Переговоры с Дробицким, председателем Горкома графиков, закончились еще более курьезно: он попросту заявил, что когда из известной организации ему позвонят, тогда он и устроит нам выставку.

Мы никогда не отказывались от участия в официальных мероприятиях, но, как я уже сказал, не хотели тратить



энергию впустую. Впоследствии нас неоднократно обвиняли в пессимизме, но для оптимизма попросту не было прецедентов. Нусберг? Инфантэ? Или то, что Кабакову, Булатову, Чуйкову разрешили носить свои работы на московские однодневки и один раз устроили выставку в Горькоме? Ей-Богу, они достойны большего. И поэтому нас до поры до времени устраивали показы в APTART-gallery, в очень ограниченном пространстве и при — по необходимости — малой публике. Там мы могли показать то, что хотели, и так, как хотели. К тому же власти поначалу не вмешивались в нашу деятельность и не особо нам вредили. Однако в феврале 83-го года, во время показа СЗ, появились представители органов безопасности, устроили обыск, разрушили экспозицию и конфисковали ряд работ. Немного позже было удивительным образом запрещено празднование пятилетнего юбилея группы «Мухоморы»: и одно из приглашений, посланных по почте, числом около 20, не дошло в срок до адресатов, а члены группы были вызваны и им было сказано, что если они что-нибудь устроят, то это будет расценено как провокация. В общем, больше чем по трое — не собираться!

В результате, до мая ничего не происходило, а потом состоялся «APTART в натуре», продолжавшийся почти сутки и оказавшийся благодаря красивой природе, прекрасной погоде и, возможно, отчасти и самой экспозиции настоящим праздником. Перепугавшись, мы почти не информировали публику, но, несмотря на это, на «APTART в натуре» было около трех сотен человек, что, если учесть удаленность от Москвы, отсутствие рекламы и нервность атмосферы, — совсем немало. Это говорило о том, что у зрителей имеется интерес к искусству — или жизни — такого типа. Важно и то, что «APTART в натуре» был первым, после Измайлова, событием на открытом воздухе, где собралось много народу. Разумеется, масштаб Измайловской выставки и «APTART в натуре» совершенно разный, и несоизмеримо социальное значение этих двух событий. Но, возможно, это и звучит нескромно, однако даже маленький фестиваль, который нам удалось организовать, был очень важен.

За «APTART в натуре» последовал «APTART за забором» (на подмосковной даче). Этот показ был более камерным, что обусловлено было как топографией (на самом деле забором), так и изменением атмосферы в Москве, о чем дальше. От первого пленерного шоу он отличался более высоким качеством работ, но и более мрачным общим настроением.

Потом состоялись «Победы над солнцем». Показ в темноте, при свете единственного карманного фонарика и в сопровождении магнитофонного гида, маленькие работы, в отличие от предыдущих экспозиций, мало изменяющие интерьер, человек, спящий в постели, человек, лежащий с закутанной головой в ванне, еще один, тоже безликий, жарящий что-то на кухне, Абалакова и Жигалов, сидящие в углу и лущающие семечки, — темно и мрачно, да еще и «Боинг» сбили...

Последний сезон APTART (83/84) был достаточно насыщен. Состоялось несколько интересных, по-моему, событий: показ Захарова, «Дальние дальние страны», «Одесса». «Дальние дальние страны» были веселыми и безоблачными, в чем заслуга Кости Звездочета и его «команды». «Одесса» позволила увидеть искусство сильно отличающееся от московского, более расслабленное, чем столичное, и при этом заряженное каким-то достаточно хорошим абсурдом. Оно больше «jazzy» чем московское, а в рамках самого джаза — это явный «cool». В этой группе народу немного, и большинство из них работают недавно, но тем не менее уже можно сказать о возникновении еще одной «школы» нового искусства в СССР — и надеяться, что эти люди будут работать и дальше. В одесской группе можно различить две линии. Одна, командиром которой является Ануфриев, декларирует вкрадчивую мягкость, доводящую, впрочем, иногда до бешенства. Вторая (К. Цахес, Милка / Перец, Войцехов) продуцирует вещи, которые временами просто жестоки, которые шокируют своей холодной несуразностью, — но при этом они все равно окутаны какой-то южной мглой.

Особняком стоит Лейдерман, художник с незаурядным чувством формы, пожалуй, самый интересный живописец и график из одесситов. Но очень интересно у него и совмещение глубокой еврейской тенденции с психоделической образной болтанкой, имеющей свои корни в современном

западном искусстве, в джазе Колтрейна и Паркера, в поэзии битников — и в «вестерн-кришнаизме».

Про Захарова надо бы сказать много, но это очень трудно. Мне кажется, что именно он является сейчас наиболее интересным молодым художником Москвы — при всех слабостях и провалах, частых в его работах. Кроме того, он первым из участников APTART перешагнул за границы ситуации, из которой APTART возник. Правда, если считать, что тон в APTART задавали Мухоморы и я, то Вадим окажется «ассоциированным членом».

Весной — летом 84-го года происходили события, не имевшие непосредственного отношения к искусству, — но, с другой стороны, понять, где кончается искусство и начинается что-то другое, иногда очень трудно. Да и решают это зачастую люди более решительные, чем художники. Благодаря этим событиям APTART закончился. Трое из Мухоморов были отправлены в армию — в лучших традициях эпохи государя императора Николая Павловича. Я был вызван в КГБ, где мне сообщили, что моя деятельность расценивается как провокационная и антисоциалистическая. Я не могу жить без абсурда, но, похоже, у меня до сих пор мелкобуржуазное нутро, и когда абсурд принимает такую форму — у меня бегут мурашки по коже. Впрочем, ничего, можно привыкнуть. Я пообещал больше не устраивать «выставок». Это обещание я дал (разумеется, не дать его было бы очень трудно) с довольно легким сердцем: помимо того, что трое активных участников APTART были удалены из Москвы, вообще было уже ясно, что APTART исчерпал себя. Возможно, он мог бы просуществовать еще, но жизненный смысл он уже потерял. Стены, на которые мы вешали свои картины и в которых вели свои разговоры, были уже слишком продырявлены гvozдьми.

Теперь я попробую подвести итоги. APTART дал возможность группе художников показать свои работы. Произошел выплеск — даже если из стакана воды, но на нашей равнине это все равно важно. Было заявлено о новой линии в развитии зрелищного искусства, люди, занятые таким искусством, смогли хоть как-то посмотреть сами и показать другим свою продукцию. APTART возник, когда в результате определенных решений на кухне художественного процесса сварилось что-то новое — эта пресловутая «новая волна». Но, поскольку в искусстве нет и не может быть ничего статичного (оставим в стороне традиционное народное искусство, да и оно ведь меняется), через некоторое время началась другая новая реакция. «Новая волна» уже дала свои плоды, но сама откатилась обратно в море.

При этом интересно, что изменения произошли и в творчестве художников, которых к «ньювейверам» никак не отнесешь. Например, сочинения Рубинштейна последнего времени, его «Новый сентиментализм». Стерном Рубинштейн восхищался давно, однако его новые вещи, сохраняя всю удивительную точность структуры, приобретают во времена его «концептуальных» поисков, демонстрируют теперь поразительную лирическую открытость. Работы Монастырского, также сохраняющие методологическую жесткость, присущую вещам 70-х годов, стали куда более «театральными», «мясистыми»; называть это можно как угодно, но дело в том, что теперешнее творчество Монастырского основывается прежде всего на его личных переживаниях, его позиции, а не на общекультурном контексте. Альберт, оставаясь единственным в Москве осознанным концептуалистом, стал делать вещи, обладающие собственной образностью, собственной фактурой и ценные сами по себе. Даже Кабаков, «отец-основатель», сошел с Олимпа и занимается ирригацией болот. «Коммунальная квартира» осталась «коммунальной квартирой», «мусор» — «мусором», но все, как говорится, «демифологизировалось», куда-то испарились эти фракции человеческого сознания, Вшкафсидящий Примаков и прочие, и теперь мы видим не персонажей кабаковской вселенной, а самого Брахму, и это зрелище не менее удивительно, чем покрывало майи, которым он раньше махал перед нами.

В этой связи важно упомянуть и о «молодой» официальной живописи: Файдыш, Лубенников, Сундуков, Толстая etc. Можно, конечно, говорить о том, что это — внешнее перенесение «трансавангарда» или стиля «новых диких» на сложившийся и вполне своеобразный ландшафт официального искусства СССР. Тем не менее контраст с бесконечными «Катями у Коли, пьющими чай и водку на веранде у Пети», не говоря об имеющих только денежный эквива-

лент ветеранов и комсомольцев, разителен. Естественно, социализм — это мешок, куда, в принципе, можно напихать что угодно, но все равно ведь приходится тащить этот мешок на горбу. Именно поэтому «официальные» ньюейверы, резко отличаясь от большинства окружающей продукции, остаются все же советскими художниками. И главная претензия, которую можно высказать, если подходить к их картинам с позиции «новой волны», — это то, что в них нет той внутренней энергии, хорошо канализированной агрессии, без которой картины Иммендорфа, Кья или Шнабеля бессмысленны. Однако «официальные ньюейверы» все же интересны, и среди них есть очень хорошие художники, например, Вахтангов.

И, наконец, изменилось отношение к творчеству тех художников, которые и раньше делали что-то, не укладывавшееся в русло «концептуализма» 70-х годов. Например, Андрей Абрамов. Раньше его картины и графика по необходимости воспринимались в контексте этого широко понятого «концептуализма». Теперь же стало очевидно, что речь шла о другом, и его творчество открылось значительно полнее.

К сожалению, почти неизвестен Олег Яковлев, уже около 10 лет назад уехавший во Францию и, судя по всему, теперь не работающий как художник. Он успел сделать немного, но в его тогдашних вещах, очень смешно сочетавших элементы геометрической абстракции со свободной фактурой живописи, просвечивали задатки нового отношения.

По-моему, в этой связи необходимо упомянуть и Ивана Чуйкова. Он в большей степени, чем, например, Абрамов, следовал принятым в 70-е годы конвенциям, но в его замечательной живописи всегда было то, чего не хватало здешнему «новому искусству», — легкость, простор, открытость берега.

Наконец, Владимир Наумец. Очень хороший художник, долго делавший хорошие работы, но набравший полную силу и открывшийся только в последнее время. То, что он нашел для себя возможным отойти от тихого, светлого и достаточно покойного эстетизма своих прежних вещей и работать так, как сейчас, — также говорит об изменившейся ситуации (как, разумеется, о силе и таланте самого художника). Очень показательны его слова в «Интервью» Кизеальтера (дополнение к книге «По мастерским») о том, что не теперь он начал делать дикую живопись, а, наоборот, делал дикую живопись — раньше.

Очень показателен был интерес, возникший к деятельности ленинградских «барачников» после статьи Кузьминского в «А—Я». Десять лет назад к ним могли относиться хорошо, но видеть в них симпатичных питерских юродивых, экзотических пьяных попугаев с неевского болота. А теперь-то выяснилось, что эта группа художников сделала очень много; то, что кроме них никто не сделал.

Так что АРТАРТ в своей деятельности только выразил более чисто (благодаря тому, что все-таки это была группа) те изменения, которые общи всей среде.

В Ленинграде имеется группа художников, совершившая нечто подобное: Котельников, Кошелохов, Марат Новиков.

Многих я, наверное, не знаю. Несмотря на замкнутость художественной среды, все равно время от времени оказывается, что кроме нашей деревни есть и еще какие-то.

Теперь надо работать дальше. Ясно, что пестрота, графичность, несуровость и преувеличенная фактурность уже стали рутиной. Видимо, речь идет о создании более прозрачного и строгого стиля (ведь и Матисс строг). Год назад я полувштучку заявил, что самое актуальное теперь — «Мир Искусства». Разумеется, это ерунда, трудно и не нужно рисовать, как Бакст; но меня не подняли на смех.

Как именно будет выглядеть искусство 80-х годов, мы увидим, если нам дано будет прожить и проработать вторую половину этой декады. Но одно уже видно, и это очень важно: искусство явно регуманизировалось, оно стало менее идеологичным и программным, вернулось к себе, стало «больше похоже на искусство» (что это такое?) — то есть на правду. Художники же стали больше похожи на художников. Они, кажется, перестали претендовать на кафедру вероучителей.

И в этом случае я стою за теорию возделывания своего поля. Я неспособен ясно определить искусство, но уверен, что это не политика, не социология, не религиозная практика, не защита среды. Оно может способствовать разрешению этих и других областей человеческого существо-

вания; — но к палеолиту с его синкретизмом, восстановленным учеными, возврата нет.

Я могу себе только позволить составить прогноз развития «нового искусства» в обозримом будущем. Естественно, это мой прогноз, и как таковой, он не претендует на истинность.

Мне кажется, что до очередного поворота к дематериализации искусства путь еще долгий. Напротив, речь идет откуда о «наращении мяса», о развитии образной, фактурной системы. Мы до сих пор питаемся репродукциями всех существующих стилей, рядим свои работы в костюмы из реквизитного цеха. Это естественно — такова уж наша каталожная эпоха. Но для того, чтобы прийти к идейному — или идеалистическому, если угодно, — искусству, необходимо стоять на той горе плодородного гумуса, на которой стояли новаторы даже последнего периода, двадцатилетней давности. И этот слой еще не накопился. Но, разумеется, заняться просто «станковым искусством», «лирической поэзией» или чем-то еще в том же роде уже невозможно. Концептуализм, последнее большое направление, научил многому, и отказываться от этих уроков бессмысленно. Поэтому, мне кажется, речь идет о визуальном искусстве, литературе, музыке, архитектуре — неустойчивых, не замкнутых на себя самих, предполагающих свободный из себя выход. Речь идет об открытом искусстве.

Пути к нему могут быть какие угодно. Сейчас в Москве (поскольку я пишу прежде всего о Москве) можно разглядеть несколько таких основных путей. Это бесконечное накопление тавтологий, наложение их друг на друга, расчитанное на то, что когда-нибудь они, по странному алгебраическому закону, убьют друг друга и перестанут застилать ясное небо. Это прежде всего Сорокин. Но это накопление тавтологий как следствие имеет (а может быть, как причину) шаманизм, подъем через мутные слои существования или, наоборот, «опускание духа», извлечение «божественного хуя» — с присущими этому процессу впадением в транс и глоссолалией, в том числе и копролаимией. Главный шаман Москвы, самый старший и почитаемый, — это Монастырский. Но кто камлает лучше, он или Сорокин, — сказать трудно. Шаманит и Пригов, но его образ камлания (если не упоминать о пресловутой демифологизации) — напоминает какого-нибудь Тан-Богоразы, который вдруг сам начинает кружиться по чуму с бубном и колотушкой, — не переставая при этом быть ученым европейцем, не насмехаясь над туземцем, но и не стараясь «пойти в народ». Совсем не шаманит Рубинштейн. Как ему это удастся, понять трудно, но удастся. Дело, наверное, просто в поэтическом таланте: как же иначе он, находясь в безводной пустыне каталожного зала, ухитряется писать лирические тексты? И где-то близко Захаров, сам построивший из собственных комплексов и переживаний каталожный зал, перекрывший его тяжелой крышей «настоящего искусства» да еще развесивший по стенам строгие и наблюдательные парсуны отцов авангарда и делающий из всего этого очень интересные вещи, возможно, наиболее интересные из создаваемых сейчас в Москве художниками младшего поколения. Совсем по-другому подходят к делу Мухоморы. К сожалению, трое из них в настоящее время лишены возможности что-нибудь делать, а двое оставшихся, похоже, завязали. Но если говорить о том, что они делали раньше, то это — нео-поп в наиболее чистом и удачном виде в СССР. Структурой мышления, выбранной для передачи собственных идей, является «урловизм» — то есть та ментальность, которую несет очень большая, возможно, большая часть населения этой страны, — во всяком случае, русского. Эта ментальность схожа с ментальностью «среднего американца» — то есть той, которая унавожила поп-арт. Разумеется, есть и очевидные различия. Есть еще и панктерство — модус сознания, невозможный для тучных 50-х годов и вполне естественный в последнее время, когда «No future» стал расхожим лозунгом. Мухоморы наиболее из всех московских художников демократичны, потому что, рефlectируя над «урловизмом», они не ставили себя над ним (над ним ничего и нет, кроме Бога, это совершенно плоский мир, там и шаманизм невозможен), а просто забегали туда. Для них это одновременно родина и хождение за три моря, но вся топография — это топография Козьмы Индикатова, неправдоподобная до правдоподобности. Меня, правда, пугала иногда в их деятельности какая-то излишняя мимикрия, когда я уже не мог понять, являются ли Костя и Свен «светскими людьми» или персонажами собственных

работ, тем совершенно непонятным мне «народом» (что такое «народ» — этническая общность? социальная группировка? фикция, декларируемая правительством?), который, боясь открытого общения, кутается в капустные листы «истинной народности», и: «Ну что, зёма, не врубаешься?» Конечно, все мной сказанное о Мухоморах — с моей колокольни. Кроме того, поддаваясь объединению в одну группу, ее члены очень разнятся. Между романтизмом Звездочетова, камуфляжным красноречием, прорывающимся время от времени в ясный лиризм у Гундлаха, и гиньольным абсурдом Мироненко — дистанция очень большая.

К Мухомору примыкает Андрей Филиппов, хотя, по-моему, сильно от них отличается. Его вещи, которые он показывает редко, отличаются удивительной ясностью, энергичностью выражения. Он немногословен, и это редкость, он похож на степняка, переставшего петь длинные песни и начавшего говорить слова. «Риму-Рим», «Умри», «Аромат Степу» — по-моему, шедевры. И, хотя этот мостик очень шаток, он, на мой взгляд, ближе всего к тенденции Рубинштейна. Здесь то же внимание к окружающему миру и способность проявить в нем линии, соединяющие одну точку с другими.

Про себя самого мне говорить, естественно, трудно. Я тоже склонен к наслоению тавтологий, но тавтологии эти персонального свойства. Мое последнее шоу «Я чувствую себя вне целого мира, к которому мне хотелось быть внутри» ясно об этом свидетельствует. Для меня это апофеоз и пик стыда такого метода, а больше всего меня интересует «ясность тона», любимый термин — «La poésie fugitive», изобретенный Батюшковым, а любимая декларация — «поэзия должна быть пресная как вода» (Мацуо Басё). И — «сидеть бы на носу лодки, держать в одной руке краба, в другой — чарку водки, плыть вниз по реке — удовольствия хватало бы на всю жизнь». Это сказал Ли Бо, который потом утонул, когда спяну пробовал поймать луну в реке.

Так что тенденции более или менее ясны. В зависимости от собственного настроения можно отдавать предпочтение экзистенцистскому прорыву, социальной рефлексии или персоналистическим поискам в окружающем мире. При том, разумеется, что все всё равно стоят на твердой земле, выпущенной из окружающего болота усилиями деятелей предшествующего двадцатилетия. Конечно, идеально, чтобы кто-нибудь сфокусировал в себе все сразу; но такой на русском языке называется «Пушкин», и его не видеть. Еще не пришел.

«В искусстве все тенденции хороши» — написал один из моих любимых художников, Бен Вотье, на майках, которые потом продавал на Fiac-84. Я с ним совершенно согласен.

И, наконец, необходимо сказать о социальных аспектах существования APTART. В этой области были совершены важные ошибки. Каким-то образом, не очень понятным для нас самих, мы оказались партизанами, засевшими в лесу и попавшими в окружение. Я с детства люблю партизан, но в окружение-то попадать не надо. Почему власти отнеслись к нам неблагоприятно — непонятно. APTART был в это время единственной группировкой в художественном мире, достаточно громко заявивший о своем существовании и желании существовать независимо от сложившихся правил игры. Это, естественно, было воспринято как непозволительное *faux pas*; ну и надо ведь этой организации что-то делать на теперешней фазе идеологической войны, характеризующейся безрыбьем. Так что спасибо, что проявили гуманность, могли и саблей по глазам. Но об этом рассуждать неинтересно.

Гораздо интереснее разобраться в том, что произошло **внутри** художественного мира. Первый этап APTART был озаглавлен пафосом того, что мы — «новые», «другие». В сущности, так оно и было, но члены APTART, кто в большей, кто в меньшей степени, ударились в раскол. Противопоставление себя другим правомочно в обильном и густом художественном мире, скажем, Нью-Йорка, но

в разреженной атмосфере Москвы это непростительно. В условиях, когда занятие искусством является в большой степени практикой выживания, раскол просто пагубен. Даже в насыщенной и хорошоотрегулированной структуре западного художественного мира нетерпимость не приносит никакой пользы. Здесь же она сильно вредит «общему делу».

Дело еще в том, что благодаря присущей практически всем, выросшим в здешней культуре, инерции тоталитарного мышления, в раскол легко ударяются обе стороны, как та, которая провозглашает некую новую истину, так и та, которая придерживается уже установленной. Один раскол поощряет другой.

В случае с APTART это было вообще анекдотично. Трудно понять, чем была вызвана буря в стакане воды. Никто вроде никого ничем не обижал, никто не претендовал на исключительную роль, никто не настаивал на абсолютной правоте. И, однако, через некоторое время желание «аптартовцев» делать то, что они хотят, — начало расцениваться чуть ли не как провокаторство, их позиция приобрела вид культурной партизанщины. Можно, конечно, обвинить старших коллег в том, что они на высоте возраста впали в буржуазную уютность, — но последнее дело кого-то в чем-то винить.

Как бы то ни было, вокруг APTART возникла зона молчания. Opinion-makers в Москве решили не замечать его, не то потому, что с их точки зрения он оказался пустцветом, не то потому, что он не укладывался в установившиеся правила социальной игры. Однако радостно, что это касалось **группы**, а не отдельных ее членов. Так что возможно, что дело в укоренившейся нелюбви ко всяким фракциям и партиям.

Вторая большая ошибка, а вернее, изъяз, подтачивавший APTART, — это то, что некоторые его участники, начав весьма активно, со временем перестали достаточно много работать. Кто вместо этого говорил и раздувался сознанием собственной значимости, кого заел быт, а кто хотел быть гением-во-что-бы-то-ни-стало и не мог реализовать это желание. В конце концов, все эти причины корнем имели одну общую: недостаточное осознание себя как художника, отсутствие того, что Кандинский назвал «внутренней необходимостью»; усугублялось это еще и тем, что жизнь в нашей платоновской стране идей, где «торжество материализма упразднило материю» (А. Белый), позволяет быть художником, назвавшимся таковым.

В общем, к моменту вмешательства внешних сил APTART тоже уже стал «чистой идеей», не подтверждаемой чем-то, что можно пощупать.

Я не уверен, что повторение всегда мать учения, но чему-то, я думаю, опыт APTART его участников научил. Можно сколько угодно винить советскую власть (на самом деле не в ее интересах поощрять маргинальные явления) или говорить о том, что в других условиях галерея вроде APTART прославилась бы на протяжении полугода (может, и так, опыт мелких галерей Ист-Виллидж, начинавших очень похоже, это подтверждает). Дело не в этом. Мы в этой стране живем в очень странных условиях, сетовать на них непродуктивно, так же как и невозможно, в обозримом будущем, ждать их изменения. В этих условиях нехитрое дело иметь кучу неприятностей — так же, как и увидеть у себя директора центра Помпиду и Кунстхалле в Цюрихе и услышать от них комплименты по поводу того, что они не ожидали увидеть в СССР искусство подобного рода. Неприятности имели уже очень и очень многие, и толку от этого мало; а за комплименты нужно благодарить.

Речь все равно о том, чтобы иметь возможность работать, жить как художник и отвечать за свое искусство, а не за мнения по его поводу людей, играющих в свою параллельную игру. Как это возможно — я не знаю и отношусь к этому довольно пессимистично. Но надеюсь, что возможно.

Поживем — увидим.

К читателям!

«Социализм непобедим». Как значится на плакате в перформансе Гриши Брускина (№ 11, стр. 38). Видимо, это так. В № 11, стр. 35 подписи под фотографиями читать следует так:

Игорь Алейников — это Борис Юхананов (тоже с камерой);

Борис Юхананов — это Герман Виноградов;

Герман Виноградов — это Сергей ЛЕтов; фрагмент «М» «Коллективных действий».

Сергей ЛЕтов — это Игорь Алейников (с камерой).

Татьяна Щербина, Дмитрий Волчек и Дмитрий Александрович Пригов себе соответствуют, но Виктор Кучерявкин (стр. 18) в действительности — Владимир.

Конечно, приносив свои извинения, хотя редакция тут не вполне при чем...

Редакция



AVOTS N 12



AVOTS N 12



AVOTS N 12

ЮРИС БОЯРС

ЛАТВИЙСКОЕ ЗОЛОТО

В контексте восстановления суверенитета и самоопределения республики возвращение золота, других валютных ценностей и находящейся за рубежом собственности Латвии несомненно имеет принципиальное значение, независимо от величины той суммы, о которой идет речь. Латвийская ССР, или как бы мы ни называли будущую, обретшую реальный суверенитет Латвию, является в соответствии с международными правовыми нормами единственной правопреемницей Латвийской Республики двадцатых—тридцатых годов, вне зависимости от того, нравится или не нравится каждому отдельно взятому жителю ее нынешний политический режим и уровень реального суверенитета в данный момент. Если мы не идеалисты, то должны признать, что такое политико-правовое устройство, которое удовлетворяло бы **все** общественные организации и движения и **всех** постоянных жителей Латвии, невозможно. Однако, пока ведутся жаркие споры о политической модели завтрашней Латвии и ее правовых (или международно-правовых) отношениях с СССР, сидеть сложа руки в ожидании исхода борьбы нескончаемых политических концепций нельзя.

Несмотря на то, что среди некоторой части населения республики стал популярным довольно-таки наивный лозунг «Лучше в постолох*, но на свободе», более

широкие и рационально мыслящие (и притом не менее патриотично настроенные) слои общества убеждены, что гораздо мудрее вовремя озаботиться тем, чтобы как в неволе, так и на свободе иметь обивку более основательную, чем постолы. Пустые прилавки недостойны человека ни в полусуверенном, ни в архисуверенном государстве, и достижение народнохозяйственного благополучия немыслимо без развитых внешнеэкономических связей. Последние, понятно, невозможны без собственных золотых запасов и резервов конвертируемой валюты. Для их создания в республике уже предпринимаются необходимые шаги к получению отчислений от экспорта, организации экономических экспортных и беспощинных зон, привлечению иностранных туристов, производству экспортной продукции для внешнеторговых поставок и изысканию других способов добывания конвертируемой валюты.

Возрожденная суверенная Латвия должна вернуть себе, и без промедления, все те элементы и виды собственности, которые присущи независимому государству. В этой связи экономический суверенитет республики недостижим без наследования прав на собственность Латвийской Республики в том, что касается валютных резервов государства, его активов и недвижимого имущества за рубежом. Это тема диссертации, и она будет включена в план научных работ новосозданного Института внешних сношений Латвийского госуни-

верситета. Настоящая статья поэтому не более чем тематическая заявка и предварительный обзор доступных на сегодняшний день материалов.

Точкой отсчета в рассмотрении предложенной темы безусловно является середина июня 1940 года, когда Советский Союз — в нарушение ленинского (1917 г.) Декрета о мире, своих же торжественно провозглашенных принципов международных отношений, статьи 10-й Устава Лиги Наций, Парижского (1928 г.) пакта, известного как пакт Келлога—Бриана, попирая взаимные договоры о ненападении, заключенные в тридцатых годах, и определения агрессии и даже положения им же самим в ультимативной форме навязанного Пакта о взаимопомощи (1939 г.) — ввел свои войска на территорию трех балтийских республик и аннексировал их, уничтожив эти республики в качестве суверенных субъектов международного права и независимых членов мирового сообщества. Одновременно СССР предпринял срочные меры с целью присвоения собственности этих государств и частной собственности их граждан как на территориях балтийских стран, так и в зарубежных странах, полностью игнорируя при этом волю и законные интересы народов Эстонии, Латвии и Литвы.

А теперь попробуем размотать клубок событий. Прежде всего напрашивается вопрос, откуда взялось латвийское золото, коль скоро мы знаем, что в Латвии оно не добывается. Золотой фонд Латвии был

* Постолы — эквивалент русских лаптей. — Прим. пер.

основан решением правительства Латвии 20 марта 1920 года. В него поступило золото, имевшееся в распоряжении правительства, а также собранные народом пожертвования в виде драгоценностей и монет (этой акцией руководила видная писательница Иванде Кайя), переплавленных в золотые слитки. Слитки были маркированы аббревиатурой Министерства финансов и Латвийского банка (ЛБ) и сданы в этот банк на хранение. Заметим, что в отличие от Эстонского и Литовского банков, представлявших собой частные акционерные общества, ЛБ был автономным государственным предприятием, организованным Министерством финансов, и ответственность за его надежность и осуществляемые им операции лежала на государстве. Правление банка назначалось государственной исполнительной властью (Loeber D. Baltic Gold in Great Britain. — The Baltic Review 36. NY, Oct. 1969, No 36). Это необходимо учитывать в правовой оценке конфискации наших активов.

К тому же Министерство финансов обладало правом приобретать золото для этого фонда на свободные средства государственной казны, а также пополнять его средствами от экспроприации. В 1922 году в Латвии была проведена валютная реформа, и место рубля как денежной единицы занял лат, приравненный к золотому франку с золотым содержанием 0,2903226 грамма. В том же году был основан ЛБ. В результате рациональной хозяйственной деятельности золотые и валютные запасы Латвии непрерывно росли. Так, в 1933 году в распоряжении ЛБ имелось золото на сумму 20,5 млн. лат, в том числе в инвентаре в Латвии — на 0,3 млн., за границей — на 10 млн., всего — на 49,9 млн. лат. В 1939 году в распоряжении ЛБ золота было уже на сумму 58,9 млн. лат, в том числе принадлежавшего правительству — на 28,8 млн., к тому же инвалюты в Латвии — на 0,2 млн., за границей — на 37,7 млн., а всего — на 125,6 млн. (по данным А. Кливье — на 135 млн.) лат. (Дунсдорфс Э. Латвийское золото в Лондоне. — *Archivs*. XI, 1971, 28—29 lpp. — На латыш. яз.) К 1940 году эта сумма уменьшилась, ибо в предвоенные годы стратегические резервы накапливались главным образом на конвертируемую валюту, а кроме того, Латвия вернула Швеции долг за Кегумскую ГЭС в размере 12,4 млн. лат. Поэтому на 1 января 1940 года упомянутые выше запасы сократились соответственно до 42,9 млн. в золоте, 28,2 млн. в Латвии и за рубежом, 36,9 млн. в инвалюте — всего 108 млн. Помимо этого, Латвия понесла ущерб в сумме 2,1 млн. лат в результате девальвации английского фунта стерлингов, после чего курс 1 фунта стерлингов в 1940 году равнялся 20,35 лат.

1 января 1939 года золото было депонировано в следующих банках: в Лондоне — в Английском банке (Bank of England) на общую сумму 68 273 950 лат, в банке Барклай (Barclays Bank) — на сумму 989 649 лат; в Нью-Йорке в Федеральном резервном банке (Federal Reserve Bank) — на 4 428 062, а в середине 1940 года уже на 17,9 млн. лат; в Париже во Французском банке (Banque de France) — на сумму 5 706 775 лат; в Швейцарии в Банке международных платежей (Bank of International Settlements) — на сумму 184 000 лат. Кроме того, за рубежом в инвалюте было депонировано 37 645 926 лат (Дунсдорфс Э. Там же, с. 31, 36).

На 15 июля 1940 года в распоряжении Министерства финансов золота было на

28 184 784 лат, в собственности ЛБ — на 43 335 865 лат, всего на сумму 71 520 628 лат. Инвалюты было на 36 943 164 лат, из которых 8 млн. принадлежало другим латвийским банкам.

В весовом исчислении в килограммах на 28 июля 1941 года в Английском банке было депонировано 6 554,124 латвийского золота; в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке — 3048,119; во Французском банке — 999,952; в Банке международных платежей — 5,022, всего 10 тонн 607,217 кг чистого золота. (Дунсдорфс Э. Там же, с. 32, 33).

Депонирование золота в Лондоне не было случайностью. Как рассказывает в своих воспоминаниях бывший председатель ЛБ А. Кливье, некий представитель правящих кругов Англии, после того как германская армия 7 марта 1936 года вступила в Рейнскую область, предупредил президента Латвийской Республики К. Улманиса о том, что «ремилитаризация Рейнской области означает подготовку Германии к новой мировой войне. На вопрос К. Улманиса о возможной помощи со стороны Англии в случае войны был получен недвусмысленный ответ, что весь английский флот уже в первый день конфликта будет отозван из Балтийского моря и никакой помощи странам Балтии оказать не сможет».

Аншлюс Австрии подтвердил предсказание о вынашиваемых Германией планах, и К. Улманис отдал распоряжения тогдашним руководителям государственных ведомств Латвии предпринять все необходимое на случай вероятной войны. Цистерны Центрального союза владельцев молочных хозяйств стали заполнять бензином; по заданию акционерного общества «Оглес» делались запасы каменного угля и кокса; заводы, группировавшиеся вокруг Латвийского кредитного банка, ввозили хлопок и другое сырье; министр земледелия Бирзинькс уже осенью 1938 года обеспечил Латвию двухгодичным запасом зерновых хлебов.

Необходимо было позаботиться и о сохранности валютных ценностей Латвии в случае возможной оккупации страны (К. Улманис допускал такую возможность). Окончательное соглашение об условиях депонирования валютных резервов Латвии в Английском банке было достигнуто в 1938 году после визита в Ригу уполномоченного лица, представлявшего президента этого банка. Было решено сдать на хранение в Английский банк немаркированное золото ЛБ с условием, что слитки останутся в цельном виде и по первому же требованию ЛБ будут выданы назад. Немаркированное золото англичане могли использовать в своих сделках, уплачивая ЛБ небольшие проценты и возвращая все использованное в виде слитков стандартной пробы либо в валюте.

За вклады в английских фунтах стерлингов Английский банк выплачивал ЛБ общепринятые проценты. По соглашению, для страхования вкладов в английских фунтах стерлингов в случае девальвации фунта вклад должен был быть немедленно обращен в золото без специального на то указания ЛБ. (Адольф Кливье. Латвийское золото и его судьба. — *Archivs*. XI. 1971, с. 9—12. — На латыш. яз.)

К. Улманис решил депонировать основной золотой запас республики именно в Англии (хотя свои услуги предлагали и банки ряда других стран) потому, что полагал — войну выиграют те, на чьей стороне будет Англия. В этом он, безусловно, был прав. Однако события 1967—1968

годов показали, что он напрасно положился на Англию.

Вернемся, однако, к довоенной поре. К. Улманис узнал от посла Латвии в СССР Э. Криевиньша текст секретного протокола к пакту 23 августа 1939 года между Германией и СССР уже на третий или четвертый день после его подписания. Таким образом, ему было ясно, что Латвия включается в сферу интересов Советского Союза, однако он не вполне уяснил себе, будет ли она в результате этого аннексирована или же станет протекторатом. После ультимативно навязанного Пакта о взаимопомощи и введения в Латвию первого контингента Красной Армии, раздела Польши и вступления Англии в войну сомнений не оставалось: золото, депонированное в Англии, больше не находится в безопасности, и потому главный директор ЛБ К. Ванагс получил циркуляр приступить к постепенному переводу половины авуаров ЛБ в США. Однако Английский банк информировал ЛБ, что перевозка золота в условиях войны сопряжена с серьезными трудностями, на это надобен конвой, и страховые компании отказываются впредь гарантировать подобные перевозки. Английскому банку было дано поручение отправить в США принадлежащие ЛБ ценности на сумму 10 млн. долларов, однако А. Кливье получил подтверждение только на перевод 6 млн. долларов. Когда войска СССР 17 июня 1940 года вступили на территорию Латвии, на балансе ЛБ числилось золота на 71,5 млн. лат и инвалюты на сумму 30,3 млн. лат, из которой 90% находилось за рубежом. В самой Латвии, в ЛБ, в то время находилось золота и инвалюты примерно на 13—14 млн. лат, а серебра на 6 млн. По данным А. Кливье, эти деньги в ночь с 12 на 13 июля были похищены, несмотря на то, что Латвия тогда формально еще оставалась независимым государством. Позднее Советский Союз представил целых два объяснения, почему было вывезено латвийское золото и иные валютные ценности, и одно другого хлеще. Первое неуклюжее заявление гласило, что золото взято в уплату за 1000 тракторов, которые Сталин посулил латвийским крестьянам, если Латвия вступит в СССР. Другое, еще более неуклюжее, объяснение дал Адольфу Кливье назначенный Андреем Вышинским военный министр Латвии Р. Дамбитис: золото, сообщил он, взято в уплату за тяжелое вооружение, размещенное в Лиепае, в Ирбенском проливе и рижском предместье Болдерая. (А. Кливье. Там же, с. 14—17.) То есть с аннексированного государства взимались деньги за оружие агрессора!

Следует добавить, что проблема латвийского золота не может быть понята без рассмотрения предвоенных актов о национализации.

Назавтра же после рокового дня 21 июля*, а именно 22 июля 1940 года, в Латвии была принята Декларация о национализации банков и крупных промышленных и торговых предприятий, и 25 июля вышло соответствующее постановление Совета Министров. Значит, фактическая экспроприация двумя неделями ранее Латвийского банка была абсолютно противоправной. К тому же эти ценности ЛБ

* 21 июля 1940 г. так называемый Народный сейм провозгласил в Латвии Советскую власть, объявил об образовании Латв.ССР и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять Латв.ССР в состав СССР. — Прим. пер.

были вывезены в СССР, что ни одним актом не оговаривалось.

Немаловажно будет напомнить о том, что экспроприации подверглось не только латвийское государство, но и его граждане, потерявшие все свои вклады. Национализация банковского капитала проводилась без какой бы то ни было компенсации. Лишь владельцам речных и морских судов было объявлено о компенсации в размере 25% стоимости имущества. Без всякого возмещения конфисковывались и те предприятия и банки, в которые был вложен капитал зарубежных кредиторов. Одновременно были конфискованы и те предприятия, что сами вложили средства за границы. К тому же в советском праве акты о национализации всегда распространялись на собственность государства и его граждан, находящуюся за рубежом. Поэтому для того, чтобы завладеть вкладами балтийских стран на Западе, СССР в июле 1940 года заверил соответствующие западные страны в том, что он якобы купил у балтийцев это золото. (Инарс Бредрихс. Балтийское золото и английские интересы. — Archivs. XI. 1971, 21. lpp. — На лат. яз.) Увы, в самих балтийских странах о существовании какого-либо акта о купле золота и слыхом не слыхивали.

Ради обеспечения интересов английских граждан и кредиторов правительство Англии отказалось признать эти советские требования и 24 июля 1940 года специальным распоряжением заблокировало все средства балтийских государств, находившиеся в этой стране, включая депозиты золота и валюты. СССР, в свою очередь, пытаясь вынудить англичан к уступкам, прекратил в порядке репрессалий платежи, вносившиеся за две национализированные в Советском Союзе концессии английских акционеров. В период с 1925 по 1934 год в СССР действовали две британские золотодобывающие концессии — «Tetiukhe Mining Corporation» и «Lena Goldfields Ltd.» Ввиду преждевременной их национализации Международный третейский суд присудил англичанам компенсацию от СССР в размере 30 млн. фунтов стерлингов. СССР согласился выплатить лишь 3 млн., причем в форме долговых обязательств, плату за которые следовало взыскивать постепенно, до 1954 года. От этих платежей СССР и отказался после того, как англичане заблокировали средства балтийских стран в 1940 году. (Бредрихс И. Там же, с. 21.)

После войны вопрос был пересмотрен. В 1959 году в Англии была основана специальная Зарубежная компенсационная комиссия, получившая право регистрации всех британских исков к балтийским государствам и соответственно к СССР. В свою очередь, Советский Союз зафиксировал свои иски к Англии. В ходе взаимных переговоров обеих великих держав в 1965 году выяснилось, что Англия хотела бы получить от СССР около 15 млн. фунтов стерлингов, а СССР от Великобритании — 10 млн.; стороны, однако, не признали большую часть исков участников переговоров.

К сожалению, объемы этих претензий, указанные в источниках, весьма разнятся между собой. Во время конфликта еженедельник «Manchester Guardian Weekly» оперировал суммой английских претензий в 12 млн. фунтов стерлингов и советскими контрпретензиями в сумме 7,5 млн. фунтов. Напротив, «Wall Street Journal» писал о британских исках, исчисляемых в 31—40 млн., и советских контрпретензиях в объеме 22 млн. фунтов стерлингов.

(Hough W. The Annexation of the Baltic States and its Effects on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory. — Journal of International and Comparative Law. Vol. 6, No. 2, winter 1985, p. 418.)

Отметим, что все эти переговоры проходили в чисто империалистической манере, без участия каких бы то ни было представителей республик Балтики, хотя за столом и решалась судьба их собственности.

В феврале 1967 года в Лондон прибыл с визитом тогдашний Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. В результате его переговоров с премьер-министром Великобритании лейбористом Г. Вильсоном было достигнуто принципиальное согласие об улаживании взаимных исков, преданное огласке 12 февраля 1967 года и позднее включенное в договор между обеими сторонами, подписанный 5 января 1968 года. (Бредрихс И. Там же, с. 23.)

Согласно первой статье договора Великобритания отказалась от всех исков к СССР, возникших после 1 января 1939 года в отношении принадлежавшей правительству Ее Величества или ее подданным собственности в Латвии, Литве, Эстонии, на Украине, в Молдавии, Белоруссии и РСФСР. Соответственно исковые требования относились ко всем республикам и территориям, обретенным СССР в результате пакта Риббентропа—Молотова.

Согласно второй статье договора СССР отказался от всех претензий на собственность в Великобритании, принадлежавшую физическим и юридическим (фирмы, акционерные общества) лицам Латвии, Эстонии, Литвы и других упомянутых выше территорий, в том числе от «золота центральных банков [этих республик], которое хранилось в Английском банке».

Согласно ст. 3 и ст. 4 договора Великобритания взяла на себя ответственность за дележ и расчеты балтийскими вкладами с английскими держателями акций. А статьей 5 устанавливалось, что на сумму остатка англичане обязуются поставить в СССР товары широкого потребления стоимостью полмиллиона фунтов стерлингов. (Loeber D. Там же, с. 12—13.)

Таким образом, физически никакого балтийского золота Англия Советскому Союзу не передавала. Англичане продали его 29 июня 1967 года, а полученными деньгами, фактически принадлежавшими балтийцам, расплатились со своими акционерами как за британское имущество, оставшееся на территории Балтики, так и за акции двух своих золотодобывающих концессий, за которые балтийцы ровным счетом никакой ответственности не несли. Тем самым в результате взаимной сделки обе великие державы противоправно погребли руки — вдвоем нажились — на валютных резервах, накопленных в свое время балтийскими странами.

Британцы откупались от своих держателей акций и заработали на продаже Советскому Союзу большой партии товаров стоимостью в полмиллиона фунтов стерлингов; СССР рассчитался нашими деньгами за две национализированные концессии, за которые англичане просили 2,5 млн. фунтов стерлингов, а впридачу за английские инвестиции в Восточной Карелии, Восточной Польше, Молдавии (Hough W. Там же, с. 419) и долги военного времени (Дунсдорфс Э., с. 42), да к тому еще получил на полмиллиона товаров широкого потребления, выручку от продажи которых, разумеется, оставил себе.

Тогдашний британский министр иностр.

анных дел Джордж Браун оправдал эту сделку от лица правительства, уверяя, что все поделено правильно, правительство и парламент имели на это право. Нельзя было не помочь тем, кто предъявлял свои претензии, понес большие убытки и ждал возмещения начиная с 1940 года. Блокирование вкладов на неопределенное время было бы необоснованным и никому не принесло бы пользы. (Loeber D. Там же, с. 13.)

Сделка была заключена во время парламентских каникул, и законодатели на следующей же сессии не преминули выразить свое возмущение. Депутат Максвелл-Хислоп (Maxwell-Hyslop), назвав совершенную сделку грязной, заявил: «Страны, о которых идет речь, возможно, на какое-то время растоптаны Россией. Такие вещи случались в истории и раньше. Польша как нация исчезла во многие исторические эпохи и возрождалась вновь; и Литва была одной из великих военных держав Европы. Следует ли отсюда, что мы должны допустить, будто эти государства навсегда прекратили свое существование лишь потому, что правительство, опираясь на авторитет парламента, хочет совершить нечто такое, за что частное лицо, которому подобным же образом были доверены деньги, очутилось бы в тюрьме по обвинению в мошенничестве»... Премьер Вильсон возжелал «кое-чем поступиться, дабы вызвать улыбку на лице у Косыгина. Ничего лучшего он придумать не смог... как поступиться имуществом, принадлежащим другому, тому, кто не давал на это разрешения и не в состоянии воспротивиться. Какое жалкое мошенничество».

Подчеркнув противоправный характер сделки, депутат Фостер сказал: «Наша страна не признала советскую оккупацию трех государств. Национализация центральных банков не признается, и правительства этих советских республик не признаны de jure... Ни один из вкладов, подлежащих дележу, не находится на советской территории...».

Депутат Гриммонд (Grimmond) заявил, что «впредь найдется мало желающих доверять свои вклады британскому правительству, когда станет известно, что они могут быть у них отняты без их ведома и вопреки их интересам... Это дискредитирует всю нашу систему правления».

И наконец, процитируем депутата сэра Бимиша (Beamish), который настаивал, что, «став участником этого позорного договора, правительство похитило у балтийских стран не только их резервы, но и доверие к своей стране». (Hough W. Там же, с. 421—423.)

В аналогичной ситуации правительство США заморозило средства балтийцев, исчислявшиеся в 1940 году в объеме 12 млн. долларов. (Hough W. Там же, с. 405.) По сведениям Э. Дунсдорфса, эта сумма равнялась 29 млн. (Дунсдорфс Э. Там же, с. 36.)

А теперь подсчитаем, сколько же у нас отняли. Э. Дунсдорфс пишет, что у всех балтийцев в Англии отняли 14 тонн 314,453 кг чистого золота, стоимость которого при нынешних ценах на золото несомненно куда выше, чем в те годы, о которых идет речь, когда тонна золота стоила около миллиона долларов.

Любопытно знать также, каковы лондонские резервы каждой балтийской страны и британские претензии к каждой из них. По данным журнала «Investors Chronicle», в 1940 году эстонские активы в Лондоне составляли 2,5 млн. фунтов стерлингов, а

претензии к ним исчислялись в 5,55 млн; литовские активы — 1,5 млн., а претензии — 0,53 млн.; наибольшими были латвийские активы — 3,25 млн., но и претензии тоже — 3,91 млн. фунтов стерлингов. Таким образом, суммарные иски, согласно этим данным, составляли 10 млн. по отношению к 7,25 млн. активов. Э. Дунсдорфс считает эту сумму исков преувеличенной. 12 марта 1957 года Министерство финансов Англии уже уменьшило исковую сумму на 2 млн., а то же время активы возросли на 250 тыс. фунтов стерлингов. Претензии к Латвии составлялись главным образом из облигаций рижского городского займа (760 тыс. фунтов), облигаций Вальмиерской узкоколейки и железной дороги Вентспилс — Рыбинск, торговых дорог и английского акционерного капитала (последний — 18,1 млн. лат) в латвийских акционерных обществах, а также государственного долга Латвийской Республики (1,9 млн. фунтов). Как считает Э. Дунсдорфс, реальная исковая сумма равняется здесь около 60 млн. лат против 66 млн. лат активов. К сказанному следует добавить, что, согласно общепризнанным принципам международного частного права, сумма долга должна исчисляться в первоначальных ценах. Напротив, золото следовало учитывать в ценах не на момент депонирования, а на момент расчетов, то есть продажи его в 1967 году. Однако британское правительство, совершая сделку с СССР, отказалось обнародовать спецификацию резервов и долгов каждого балтийского государства в отдельности.

Для сравнения: после 10 апреля 1940 года в США было 3048,119 кг латвийского золота. (Дунсдорфс Э. Там же, с. 36—41.)

Англичане скрывали подлинные данные для того, чтобы незаконным образом свести претензии в один иск фактически ко всем четырем странам. Соглашение между СССР и Великобританией вступило в силу в день его подписания, ратификация парламентом не предусматривалась, в основу договора был положен текст, подготовленный советской стороной, — все это для англичан необычно.

Свое исследование австралийский профессор латышского происхождения Э. Дунсдорфс заключает выводом, что в истории Латвии это уже второй случай, когда богатая Англия наживается за счет бедной Латвии. Первый имел место триста лет назад: два английских короля задолжали курляндскому герцогу Якову 84 582 фунта стерлингов за суда, военные материалы и зерно — по тем временам сумма немалая. Карл I не мог вернуть долг, поскольку ему отрубили голову. Его сын Карл II, заняв трон отца, о долге забывал, а впоследствии даже сумел с помощью ловко составленного договора выманить у курляндского герцога Гамбию, выменяв ее на не принадлежавшее Англии Тобаго. (Дунсдорфс Э. Там же, с. 42—43.)

Фактологическая сторона истории с валютными резервами Латвии как будто ясна. Обратимся теперь к вопросам, касающимся ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Ни в международном праве, ни в международных отношениях невозможен такой вот пассаж: «Друзья, это же было так давно, да и времена были другие, а руководители государств и подавно были такие-сякие, да и умерли они уже все, и спрашивать не с кого, что было — то было,

быльем поросло. Пусть уж, знаете, все остается как есть».

Один из виднейших советских специалистов по вопросам международного-правовой ответственности Ю. М. Колосов в своем труде «Ответственность в международном праве» (М., 1975) указывает, что, если один субъект международного права нанес политический, материальный или моральный ущерб другому субъекту международного права, а также в случае деликта, то есть в данном случае международного правонарушения, последний нередко несет известный материальный урон. Возникновение ущерба, подчеркивает автор, связано с возникновением ответственности, что находит свое выражение в необходимости возместить причиненный ущерб.

Первым специалистом, весьма основательно изучившим вопрос нарушения прав, касающийся валютных ценностей Балтии, был профессор Д. Лёбер, проанализировавший прецедент с точки зрения как западных, так и советских ученых. Отметим противоправность сделки правительства Великобритании, он напоминает, что британские суды никогда не признавали экстерриториальный характер национализации и Английский банк не имел никакого права продавать доверенное ему золото, поделив затем выручку между акционерами. Д. Лёбер справедливо указывает, что даже договором 1968 года между Великобританией и СССР дележ золота не предусматривался. Кроме того, лишение балтийских республик статуса субъекта международного права не может быть признано постольку, поскольку оно произведено вопреки нормам международного права, притом одновременно были ущемлены права третьей страны. Далее Д. Лёбер заключает, что «золото балтийцев по-прежнему принадлежит центральным банкам Эстонии, Латвии и Литвы». (Loeber D. Там же, с. 20.)

То обстоятельство, что Англия признала инкорпорацию (включение) в СССР Латвии, Литвы и Эстонии *de facto*, НЕ ДЕЛАЕТ НЕ ИМЕЮЩИМИ СИЛЫ ДОГОВОРЫ АНГЛИИ С ИНКОРПОРИРОВАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ. Признание *de facto* сводится лишь к тому, что ВЕЛИКОБРИТАНИЯ «ПРИЗНАЕТ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ БАЛТИЙСКИХ СТРАН ДЕЙСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, и не признает, что это произошло в соответствии с международным правом». Отсюда вытекает, что соглашения между странами Балтии и Великобританией по-прежнему в силе, в том числе и торговый договор между Англией и Латвией от 1923 года, где в статье 3 отмечается, что каждая из договаривающихся сторон вправе держать собственность любого вида на территории другой договаривающейся стороны. Из этого следует, что Латвия по-прежнему имеет все права на золотой депозит в Английском банке. Англия даже была обязана защищать собственность иностранных граждан на своей территории в соответствии не только с упомянутым торговым соглашением, но и осязаемыми международным правом обычаями. Так, Международный третейский суд 23 октября 1922 года объявил аксиомой, что акты правительства, посредством которых иностранные граждане лишаются своего имущества без компенсации, накладывают на него международно-правовую ответственность. (Loeber D. Там же, с. 24—35, 31.)

Аналогичное положение содержится в 17-й статье Всеобщей декларации прав человека и в 1-й статье Европейской конвенции о правах человека. Именно такую позицию отстаивала Англия, когда Иран национализировал англо-иранскую нефтяную компанию.

Д. Лёбер, опираясь на существующие в Англии правовые принципы, приходит к выводу, что эта страна, взыскав с золота балтийских стран советские долги, к которым эти страны не имели никакого отношения, и заплатив из этого же золота своим держателям акций, противоправно нажилась за счет государств Балтии.

Д. Лёбер завершает свой анализ напоминанием о том, что когда в парламенте раздались протесты против решения английского правительства, спикер палаты общин заявил: «Если балтийские государства когда-нибудь в будущем вновь возродятся и решат, что они хотели бы поднять вопрос о возвращении стоимости валютных вкладов... то они смогут по соответствующим дипломатическим каналам обратиться к Британскому правительству. Я убежден, что при рассмотрении любого подобного требования будущее британское правительство досконально вспомнит печальную историю балтийских народов и проявит готовность взвесить все аспекты данного вопроса, насколько это понадобится». (Loeber D. Там же, с. 39.) Не забыть бы нам про это обещание, когда мы приступим к практическому решению вопроса.

В заключение хотелось бы подытожить сказанное. У нас есть все права и определенные возможности для получения по крайней мере части депонированных в Лондоне ценностей. 3 тонны 481,119 кг чистого золота в США все еще на месте. К тому же надо проверить, какие суммы конвертируемой валюты были переведены (если были) в США из Лондона. И после того, как мы докажем, что являемся суверенной республикой, нам останется обратиться к правительству США с требованием признать, что мы можем использовать это золото для гарантирования внешнеторговых сделок Латвии через посредство услуг Федерального резервного банка, где оно депонировано.

О латвийской собственности во Франции и Швейцарии разговор отдельный — тут нужна детальная проверка. Плюс ко всему понадобится установить не только судьбу государственного имущества, но и находившейся за рубежом собственности частных лиц, погибших в страшные годы перемены власти, в ссылке, на фронте или умерших впоследствии здесь же, в Латвии, — установить и выяснить, каковы возможности возвращения этой собственности в соответствии с нормами гражданских права той страны, где она сейчас находится.

И последнее. Чтобы «снять тяжесть» с рассмотренного нами вопроса о праве собственности и облегчить восстановление международных торговых связей между Латвией и соответствующими государствами, Президиуму Верховного Совета Латвийской ССР, после предварительной экспертизы, очевидно, следовало бы выступить с заявлением о том, что Латвия по-прежнему признает имеющими силу и обязательными для исполнения торговые соглашения с вышеупомянутыми странами мира.

Иварс Годманис,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НФЛ

Задачи Народного фронта Латвии на пути парламентарной борьбы*

В новой Программе НФЛ ясно и недвусмысленно сформулирована наша конечная цель — восстановление государственной независимости Латвии. Определен и переходный период на пути к этой цели — достижение особого политического статуса Латвии.

Как цель, так и переходный период могут быть воплощены в жизнь лишь на уровне государственной власти. Поэтому центральный вопрос, который выдвигается сегодня на передний план, — это вопрос о субъекте реальной фактической власти.

НФЛ как общественно-политическая организация народа в процессе выдвижения подобных целей и в своей практической деятельности по их реализации должен обрести принципиально новое качество, то есть превратиться из так называемой внепарламентской оппозиции в организацию, представленную и в реальных институтах власти, став тем самым частью этого субъекта власти.

Такой принципиальный поворот, который может быть реализован только в результате выборов местных советов и Верховного Совета республики, выдвигает и новые требования и задачи в смысле деятельности НФЛ как в политической, так и в идеологической, но особенно в организационной области. Необходимо поэтому наметить в общих чертах и кратко охарактеризовать задачи НФЛ на одном из главных направлений его деятельности — парламентарной.

1. Задачи НФЛ в осуществлении политики народовластия.

1. В настоящий период НФЛ должен максимально сосредоточить всю свою политическую, идеологическую и организационную деятельность на одной цели — добиться максимального представительства НФЛ в местных советах

и Верховном Совете республики. Поскольку НФЛ — непосредственно народная организация, это практически приведет к реальному народовластию или же станет значительным шагом в данном направлении.

2. Чтобы реализовать политику НФЛ на уровне государственной власти, депутатам Верховного Совета, поддерживающим НФЛ, следует создать собственную фракцию, которая последовательно руководствовалась бы установками Программы НФЛ. В зависимости от величины такой фракции она сможет в ВС либо проводить в жизнь политику правящей коалиции, либо находиться в оппозиции.

3. Ближайшими вероятными задачами подобной депутатской фракции НФЛ могли бы стать:

а) блокирование ратификации целого ряда новоиспеченных и предусматриваемых на будущее законопроектов СССР, которые

— направлены против существующего ограниченного суверенитета Латвии (новый Союзный договор — созданный не на принципах абсолютной добровольности и равноправия; декларация о СССР — постулирующая навечно вхождение Латвии в состав унитарного государства, и др.),

— направлены против осуществления экономической самостоятельности (законопроект о союзно-республиканской собственности и др.),

— имеют целью проводимое из центра изменение правового статуса жителей Латвии (законопроект о гражданстве СССР, об особом статусе лиц, проживающих за пределами своих национально-исторических образований, и др.),

— недостаточно последовательно определяют демократические права и свободы в политической (законопроект об общественно-политических организациях в СССР) и идеологической (законопроект о печати и др.) областях,

— поддерживают навязываемую центром национальную политику (законопроект о государственном языке СССР и др.),

* В основу статьи положен доклад, прочитанный на 2-м съезде НФЛ.

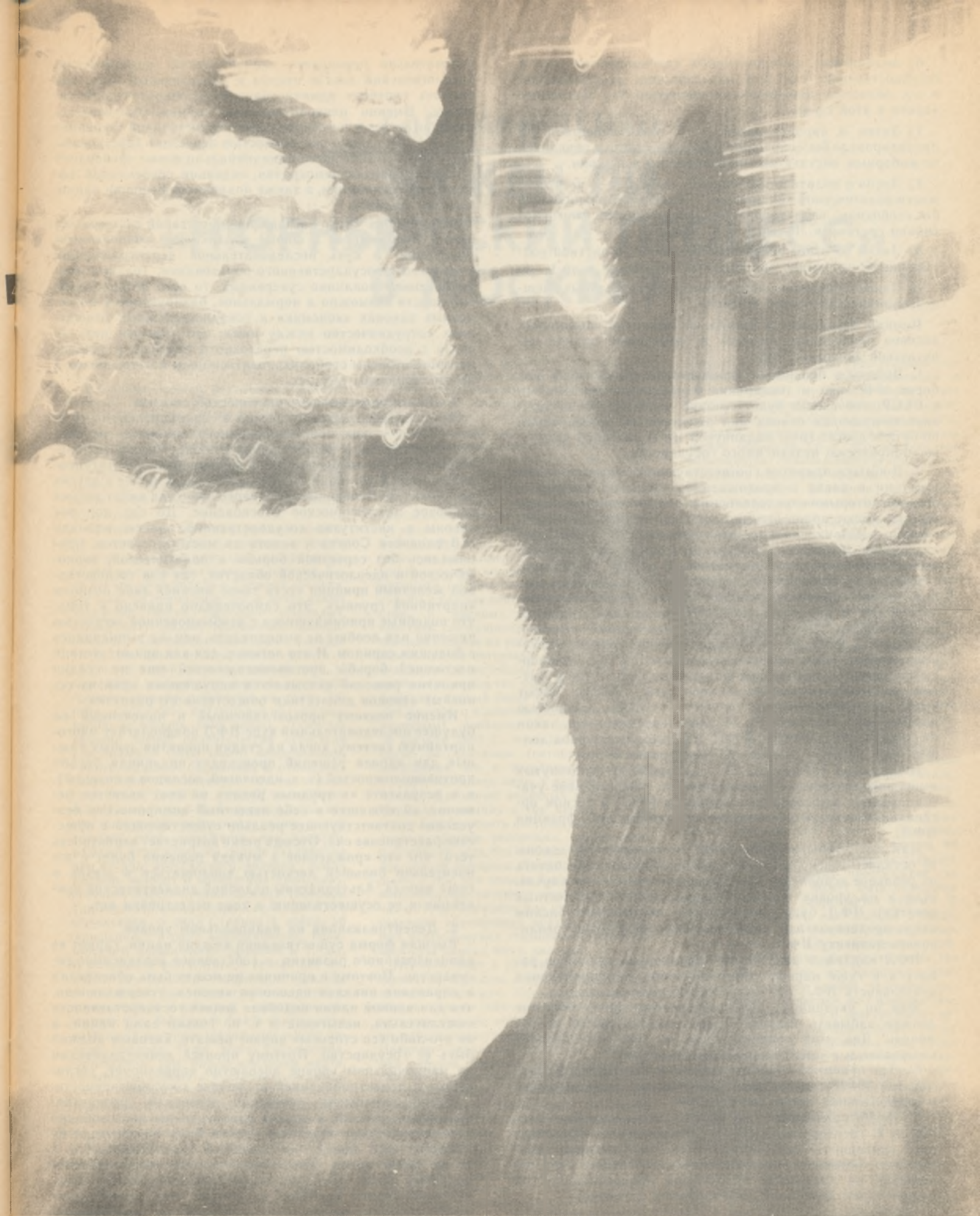


Фото АНДРИСА КРИЕВИНЬША

б) выдвижение альтернативных законопроектов как в государственной, так и в политической, экономической и др. областях, добиваясь их принятия ВС. Насущные задачи в этой сфере:

1) Закон о народовласти, т. е. власти народа, что ликвидировало бы монополию КПСС на власть с передачей ее выборным институтам народовласти в Латвии,

2) Закон о политических партиях в Латвии — центр тяжести политической демократии, — где предусматривалась бы свободная, гарантированная конституцией многопартийная система в Латвии,

3) Закон об отношениях собственности (о частной собственности на землю, акционерных обществах и др.),

4) Закон о развитии совершенно самостоятельных внешнеэкономических связей Латвии.

Помимо разработки и борьбы за принятие упомянутых законов необходимо очертить и ближайшие задачи депутатской фракции НФЛ:

1. Добиться признания незаконными результатов выборов 1940 года и декларации о присоединении Латвии к СССР, тем самым будет создана дополнительная юридическо-правовая основа для дальнейшего продвижения по пути к достижению выдвинутой НФЛ конечной цели — восстановлению независимого государства.

2. Добиться принятия соответствующих поправок к конституции в связи с прохождением воинской службы в Латвии, которыми определялось бы, что постоянные жители Латвии имеют право несения воинской службы непосредственно в Латвии и насильственный призыв их на воинскую службу вне Латвии не допускается. Должна быть принята также поправка об альтернативной службе в Латвии.

Действуя в направлении укрепления и реализации экономической самостоятельности Латвии, общественно-политической и идеологической демократизации в рамках определенного Программой НФЛ переходного периода, депутатская фракция НФЛ одновременно должна выступать против любых попыток легитимизации искусственно-суверенных, государственно-фальшивых институтов в Латвии, подменяющих собой те институты, которые имеют право на существование только в условиях полностью независимого Латвийского государства (например, закон о гражданстве Латвийской ССР в переходный период должен быть заменен законом об иммиграции и др.)

Необходимо учитывать, что в разработке упомянутых выше законопроектов должны принять максимальное участие именно новосозданные комитеты НФЛ, в тесном организационном сотрудничестве с депутатами фракции НФЛ.

Для того чтобы разработанные и принятые ВС законы не остались только декларациями, необходимо обеспечить их реальное исполнение. Это возможно лишь в том случае, если и на уровне местных органов власти (в местных советах) НФЛ будет располагать достаточным числом своих представителей, способных непосредственно реализовать политику НФЛ.

НФЛ надлежит развернуть максимально активную работу и в гуще народа, для того чтобы парламентарная деятельность НФЛ получила ощутимую поддержку.

Идя по указанному парламентарному пути, НФЛ не должен забывать главное — это только путь, но не самоцель. Два этих понятия — путь и цель — не следует смешивать и в практической деятельности.

II. Три принципа децентрализации в политической взаимосвязи НФЛ с развитием политических, экономических и национальных процессов в СССР.

1. Децентрализация — на уровне государственной власти, т. е. государственности. От искусственно образованного унитарного государства — СССР к созданию независимых государств, которые смогли бы строить свои отношения на принципах абсолютной добровольности на основе взаимовыгодных, равноправных договоров.

Подобной децентрализации на уровне государственности нет альтернативы, поскольку это единственный путь, как

окончательно преодолеть экономический, политический, идеологический диктат центра и единственный путь, как сломать «хребет» административно-бюрократической системы. Именно централизованная административно-командная система все эти годы была единственной «скрепой» Союза ССР, однако она полностью перестает действовать, как только выдвигаются принципиально новые требования в плане развития демократии, создания современной эффективной экономики, а также подлинного решения национальных проблем.

Перестройка — это не модификация старой системы или некое улучшение ее в форме «радикально обновленной» федерации, а путь последовательной децентрализации имеющегося государственного образования. Только с возникновением подлинно суверенных, то есть независимых, государств возможно и нормальное, базирующееся на основных законах экономики и товарно-денежных отношениях сотрудничество между ними; это трудный путь (в связи с необходимостью переходного периода, в течение которого должны стабилизироваться цены на этом рынке), но альтернативы ему нет.

2. Децентрализация в политической системе.

Это последовательный переход от однопартийной системы (КПСС — как политизированного аппарата государственной власти) к освобождению от политической монополии институтов народовласти и непременно к конституированию многопартийной системы в Латвии, а также в других республиках. Необходимость такого перехода имеет весьма глубокое диалектическое обоснование. До сих пор все законы в институтах государственной власти, начиная с Верховного Совета и вплоть до местных советов, принимались без серьезной борьбы в политической, экономической и идеологической областях, так как господствовал железный принцип «есть такое мнение» либо позиция «партийной группы». Это самоочевидно привело к тому, что подобные принимавшиеся с необыкновенной легкостью решения или вообще не выполнялись, или же выполнялись с большим скрипом. И это логично, так как при отсутствии настоящей борьбы противоположностей еще на стадии принятия решений оказывается нарушенным один из основных законов диалектики общественного развития.

Именно поэтому провозглашенный и намеченный на будущее последовательный курс НФЛ предполагает многопартийную систему, когда на стадии принятия любых важных для народа решений происходит подлинная борьба противоположностей (т. е. идеологий, взглядов и позиций), и в результате «в трудных родах» на свет является решение, содержащее в себе известный компромисс и безусловно соответствующее реально существующей в обществе расстановке сил. Отсюда резко возрастает вероятность того, что это «рожденное в муках» решение будет с относительно большей легкостью воплощаться в жизнь в гуще народа. Альтернативы подобной диалектической концепции и ее осуществлению в ходе перестройки нет.

3. Децентрализация на национальном уровне.

Высшая форма существования каждой нации, гарант ее цивилизованного развития — собственное независимое государство. Поэтому в принципе не может быть обоснована и оправдана никакая идеология «извне», утверждающая, что для данной нации подобная форма государственности нежелательна, невыгодна и т. п. Только сама нация, а не кто-либо «со стороны» вправе решать, каковым должно быть ее государство. Поэтому процесс децентрализации на национальном уровне абсолютно коррелирует, согласуется с децентрализацией на уровне государственности.

Только латышская, литовская, эстонская, грузинская, армянская, русская и другие нации совершенно свободно и самостоятельно определяют, каким быть их государству и какой — его форме, но отнюдь не гипотетический и в то же самое время гипертрофированный денационализированный центр. Этот путь децентрализации носит исключительно мирный характер, и лишь он один сможет обеспечить поистине дружественные отношения между нациями. В ходе перестройки этому также нет альтернативы.

ГЛЕБ АНИЩЕНКО

НУЖЕН ЛИ «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» В МОСКВЕ?

I

Сталинизм сейчас, безусловно, является главной исторической темой, обсуждаемой у нас в обществе. Выяснение сути этого феномена идет по двум направлениям: обсуждения ряда вопросов средствами массовой информации и работа Комиссии Политбюро по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала 50-х годов.

Средства массовой информации занимают предельно активную позицию: огромное количество статей, мемуаров, интервью направлены на разоблачение сталинизма. Если бы это происходило в прежние времена, все было бы нормально. Тогда почти любое заявление газеты (особенно «Правды», «Известий»), радио, телевидения воспринималось как закон. Было даже гораздо более значимым и жизненным: газета и телевизор — для всех и каждый день, а конкретное содержание закона советский человек узнавал разве что на суде. Теперь — дело иное. Везде царит полный разрыв: не знаешь, кому верить. Даже заявления членов правительства перестали для граждан быть чем-то непреложным.

Хотя, казалось бы, именно в отношении сталинизма господствует относительное единодушие (если не считать таких «проколов», как статья Н. Андреевой). Однако это единодушие затрагивает лишь самый внешний план, выражаясь, как правило, в общей отрицательной оценке сталинизма как весьма абстрактного явления. Когда же речь заходит о конкретных проблемах, опять начинается разногласие (вопросы о разделении вины между Сталиным и его окружением, о роли Сталина в войне, об оправданности ряда экономических, политических, юридических решений и т. д.). В результате всего этого и сейчас нет никакой возможности говорить о Сталине и сталинцах как о преступниках с точно определенным составом преступлений. Оценка того или иного факта оказывается зависящей от точки зрения отдельного автора, которая чаще всего субъективна. Объективны, увы, только миллионы жертв, разоренная страна и искалеченный народ. Таким образом, перенос основного центра разоблачения сталинизма в сферу средств массовой информации грозит подменой общепризнанного объективного факта более или менее частным мнением. Мало того, чтобы преступника ругал журналист — преступника должен судить народ. Обилие разных частных мнений само по себе, конечно, полезно. Но, когда речь идет о величайших в мировой истории злодеяниях, о жизни и смерти народа, — этот народ

вправе несколько потеснить «плюрализм» мнений и потребовать однозначной правды.

Более непреложных результатов по сравнению с теми, которые достигаются с помощью средств массовой информации, можно было бы ожидать от второго направления разоблачения сталинизма — от работы Комиссии Политбюро. Ее председатель — Соломенцев (уже бывший. — Прим. ред.) в интервью «Правде» характеризует комиссию как орган гласный («О всех заседаниях сообщается в печати, по радио, телевидению»), демократический («В своей работе комиссия опирается на широкую общественность»), рассматривающий события прошлого во всенародном масштабе («Нас в равной мере интересуют судьбы и видных деятелей партии, государства, и рядовых граждан — рабочих, крестьян, служащих»). Однако при внимательном взгляде на работу комиссии (даже сквозь призму интервью) все эти заявления оказываются чистой водой. В отношении «гласности» показателен уже тот факт, что первый более или менее подробный рассказ о комиссии (интервью с Соломенцевым) появился в печати только 18 августа 1988 г., т. е. почти через год после ее создания (октябрь 1987-го). Сообщения же о заседаниях комиссии и судов сводились лишь к краткой информации, оглашению конечных результатов. Не было и помину о тех мерах, которые могли бы обеспечить настоящую гласность: полные прямые репортажи, оперативная публикация всех без исключения материалов работы комиссии. Людей просто оповещают о том, что отныне Бухарин и Рыков, например, не считаются немецкими шпионами. Но по-прежнему для народа остается сокрытой объективная правда о конкретных преступлениях сталинизма, обнажающая суть самого этого явления.

Немного стоят и разговоры о «демократичности» комиссии и ее подхода к изучаемым проблемам. Состав этого органа говорит сам за себя: в него входят исключительно высшие партийные деятели и нет ни одного представителя общественности. Никакого механизма контроля общества над работой комиссии не существует. Из самого интервью следует, что участие граждан сводится лишь к исполнению роли свидетелей, которых опрашивают по отдельным вопросам. Поэтому не стоит удивляться, что комиссия, представляя интересы партии в разборе сталинских преступлений, занимается прежде всего внутрипартийными делами: существование фракций, партийная реабилитация и т. д. Не случайно, что и в предшествующей работе и в перспективном плане основное внимание уделяется «блокам», «центрам», «оппозици-

ям», но в тени остаются преступления глобального масштаба: коллективизация и раскулачивание, переселение народов, репрессии против людей, побывавших в плену и в оккупации. Вообще же можно сказать, что работа комиссии касается непартийных членов общества (т. е. его абсолютного большинства) только в части реабилитации отдельных «простых» граждан. Но и это при отсутствии гласности становится делом скорее личным, чем общественным.

Особого внимания требует не только вопрос о жертвах, но и вопрос о палачах всех рангов. И тут беседа с Соломенцевым дает весьма интересный материал. Примечательно, что уже интервьюеры переводят проблему из плана юридического в план моральный: «Ведь моральная ответственность за это не имеет срока давности». Подразумевается, по-видимому, что с юридической точки зрения срок давности должен действовать. Приведу здесь один пример. В телепрограмме «Взгляд» зашла речь о соловецких лагерях: в студию последовал звонок с сообщением о том, что один из руководителей этих лагерей является персональным пенсионером и живет в центре Москвы. Ведущий попросил видного юриста прокомментировать данный факт. Тот ответил, что соловецкий начальник не может быть привлечен к ответственности, т. к. истек срок давности. Здесь налицо, конечно, бесстыдная ложь. Даже самый безграмотный юрист в состоянии открыть Кодекс и прочитать статью 48 (п. 4, ч. 4): «Вопрос о применении давности к лицу, совершившему преступление, за которое по закону может быть назначена смертная казнь, разрешается судом». В данном случае речь идет именно о таком преступлении — об участии в умерщвлении тысяч людей, т. е. об «умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах». Но дело даже не в том, что написано в современном Кодексе: любое законодательство должно изменяться или дополняться, когда открывается тип преступлений, неучтенный в этом законодательстве. Та же 48-я статья была дополнена в свое время Указом ПВС СССР о неприменении давности к лицам, виновным «в преступлениях против мира и человечности». Однако этот Указ относится сейчас только к гитлеровцам, а совершенно необходимо распространить его действие на всех преступников подобного рода.

Соломенцев, по-видимому, понял невозможность говорить лишь о «моральной ответственности» и предложил другой путь ухода от принципиального решения проблемы: «По вскрытым фактам нарушения социалистической законности в 30-х, 40-х

и начале 50-х годов виновные уже понесли наказание в уголовном, служебном и партийном порядке». Далее перечисляются 6 фамилий расстрелянных во главе с Абакумовым. Перечисление сопровождается характерной оговоркой: «Не для всех, видимо, секрет, что...» Да, не для всех секрет, что Абакумова убили, обрубая этим многие концы, так же, как в свое время убили Ягodu, Ежова, Берия. Но подобные закулисные расправы есть лишь еще одна печать, скрывающая от народа другой «секрет» — глубину, смысл и генезис совершенных преступлений. Поэтому не внушает никакого оптимизма заявление Соломенцева относительно еще не названных преступников: «Мера ответственности каждого из них, несомненно, будет определена». С уверенностью можно сказать, что если комиссия и в дальнейшем будет вести закрытое внутрипартийное разбирательство, то народ, в лучшем случае, получит извещение о том, что товарищи такие-то исключены из партии. И дело тут вовсе не в степени суровости наказания: даже смертная казнь в данном случае будет не актом народной справедливости, а кровавой подачкой, призванной удовлетворить не слишком нравственное чувство — чувство мести.

Если говорить о восстановлении норм нравственности нашего народа, то не мстить и расправа над отдельными людьми необходимы, а точное выявление состава и размера преступлений как сталинизма в целом, так и конкретных преступников. Это нужно, конечно, не для частных акций вроде «очищения» кремлевской стены или переименования городов. Речь сейчас должна идти о главном — о восстановлении народного самосознания. Один западный человек, гостивший недавно в России, сказал: «Удивительно, что современные немцы будут глубоко оскорблены, если при них запеть солдатские песни гитлеровских времен, а на вас, русских, пение самых живых песен сталинской эпохи не произведет никакого впечатления, в лучшем случае вызовет улыбку». На это нечего возразить, все действительно так и обстоит. Те же самые средства массовой информации, которые поносят Сталина, одновременно, раз за разом, без всяких комментариев передают сталинские песни, показывают соответствующие фильмы, перепечатывают произведения сталинской литературы. И большинство людей спокойно, без содрогания слушает, смотрит, читает. А это означает, что сталинизм жив, что у страны и народа нет истинной скорби по неисчислимым жертвам, нет стыда за великий позор, нет покаяния в тягчайших преступлениях и грехах. Когда ругают Сталина, говорят, что это есть «восстановление исторической правды». Но без чувства скорби, стыда и покаяния никакой правды быть не может. Тут не отделаешься сносом одного памятника и возведением другого.

Для христианина и особенно для христианина русского, православного совершенно очевидно, что единственный выход из нынешнего катастрофического положения состоит лишь во всенародном соборном церковном покаянии. Если мы, христиане, являемся отдельными членами целого — тела Христова, Церкви, — то все тело и должно очистить себя, покаянно смыть приставшую грязь. Может ли это покаяние совершиться сегодня или завтра? Да, может, но только как чудо. Думаю, что каждый истинный русский патриот молит Господа, чтобы Он ниспослал это чудо на нашу землю. Но мы не в силах предугадать Божий Промысел и не имеем права

пассивно ожидать чуда, рассчитывая времен и сроки. Мы обязаны делать то, что можем сделать.

Нетрудно представить согласный покаянный порыв у народа, сохранившего непосредственную живую связь с Богом и Церковью. Но у нас в стране почти столетнее надругательство над душой и телом народа прервало большинство этих связей. Народ как целое потерял свою веру, память и сознание. Через их восстановление лежит путь к покаянию. Для того чтобы покаяться, надо прежде всего узнать и осознать ту бездну греха, в которую мы погрузились. И тут не избежать «суда мирского». Библия ведет через Закон к Благодати. Этот путь, по-видимому, должен пройти сейчас Россия.

Говоря о «суде мирском», я, конечно, не имею в виду мстительную расправу. Речь идет лишь о выяснении полной истины, выявлении подлинного лица преступников. Очевидно, что эту задачу могут выполнить только гласное глубокое следствие, открытое тщательное судебное разбирательство, осуществленное с участием и под контролем нашей и мировой общественности, всех средств массовой информации. За основу здесь следовало бы, на мой взгляд, взять главные принципы Нюрнбергского процесса. Я сознательно оставляю за пределами этой статьи сравнение фашизма и коммунизма, отказываюсь измерять тяжесть совершенных преступлений и говорю о Нюрнбергском процессе как о юридическом прецеденте. Напомню, что процесс был подготовлен очень оперативно (начался в ноябре 45-го года), проведен в предельно сжатые сроки (меньше года), все его материалы стали достоянием самой широкой гласности. Приговоры Нюрнберга не отличались излишней жестокостью: 12 казненных и 7 приговоренных к длительным срокам заключения. Сила правосудия обрушилась не столько на конкретных людей, сколько на само явление: фашизм был осужден как таковой, осуждению подверглись и его некоторые исполнительные органы (СС, СД, гестапо). В Нюрнберге человечество поставило на фашизме вечное нестираемое клеймо. Правда, в последующие годы, благодаря односторонним усилиям различных государственных и национальных группировок, основная линия Нюрнберга — приговор явлению — была подменена дотошным выискиванием отдельных бывших нацистов и расправой над людьми, чаще всего не способными к дальнейшим преступлениям.

Необходимо принять все меры, чтобы процесс над сталинизмом избежал подобных искажений, но клеймо на преступлениях и преступниках следует поставить с нюрнбергской твердостью и безусловностью. Однако, исходя из специфики данного процесса и его гуманитарных целей, суд во всех случаях обязан выносить решение о замене смертной казни какой-либо формой казни гражданской. Такой замене должно подвергаться и наказание в виде лишения свободы при том условии, что приговоренный, в силу своего возраста, состояния здоровья или иных обстоятельств, не способен в дальнейшем совершать аналогичные преступления и не представляет общественной опасности. Я думаю, что именно такая постановка вопроса, а не закрытие глаз на величайшие злодеяния, была бы единственно возможным в сложившейся ситуации актом истинного народного милосердия.

Приговоры могли бы включить в себя в отдельных случаях лишение избирательного права, запрет на профессию, на за-

нимание определенных должностей. Суд обязан лишать приговоренного того имущества, которое добыто преступным путем, и тех привилегий, которые получены незаконно. Элементарные нормы социальной справедливости диктуют необходимость предоставить таким преступникам лишь те гражданские права и материальные блага, которые в данном государстве считаются минимально возможными.

Мне кажется, что только подобные юридические меры могли бы сделать осуждение сталинизма необратимым и способствовать пробуждению сознания и памяти народа. Но о сталинизме я говорю здесь в качестве примера и лишь потому, что именно это явление оказалось сейчас в центре внимания. На самом деле совершенно невозможно рассматривать любой отрезок истории коммунистической власти в России в отрыве от всех других: налицо целостная, неразрывная система. И все эти 70 лет (а если рассуждать строго, то надо захватить определенные периоды и тенденции еще двух предшествующих веков) требуют покаяния и искупления.

Однако, если исходить из сегодняшней реальности, то приходится признать, что в настоящий момент народ по разным причинам еще не в состоянии осознать всю свою историю нынешнего века. Но сейчас в этой исторической цепи обнаружилось слабое звено — сталинизм. Защищать его мало у кого хватит сил и наглости. Вот с этого звена и надо начать, по нему общество вполне может и должно нанести решающий удар. Не из-за того, повторяю, что сталинизм есть совершенно особенное или самое страшное явление, а из-за того только, что оно в данное время наиболее уязвимо, доступно для полного раскрытия и безусловного разоблачения.

Все здоровые силы общества не должны, на мой взгляд, разменивать себя на воплощение «теории малых дел» (сооружение и упразднение памятников, переименование городов и улиц и т. д.). Нам совершенно необходимо всенародное «большое дело». Им, мне кажется, могли бы стать требование и подготовка «нюрнбергского процесса» над сталинизмом. Здесь более чем где-нибудь возможно достигнуть соглашения между самыми различными общественными слоями, группами и течениями.

При должном подходе этот процесс стал бы для народа школой справедливости и милосердия, школой памяти и свободы. Полное и глубокое представление о 30-летнем отрезке нашей истории неизбежно проложило бы пути к осознанию истории предыдущей и последующей. А там уже, если даст Бог, забрезжит покаяние и возрождение.

II

Вскоре после написания первой части этой статьи в печати появились публикации о 17 исках Ивана Шеховцова в защиту товарища Сталина. Суда потребовали сталинисты. И сегодня, когда много говорится о создании у нас правового государства, именно сталилист Шеховцов, как это ни парадоксально, преподавал всем образцовый урок правового мышления: «Коль скоро суда над вдохновителями террора не было, то и называть их палачами и даже обвинять в преступлениях незаконно».

Общественность попыталась ответить Шеховцову. Но если Шеховцов стоит на четкой правовой позиции, то практически для всех этих ответов характерно, как мне кажется, непозволительное смещение разных понятий и категорий. Укажу хотя бы

на статью П. Гутионтова в «Известиях». В споре с Шеховцовым автор ссылается на то, что по отношению к Сталину «уже вступил в законную силу» «приговор Истории» и на то, что мы называем Малюту Скуратова или Тимура преступниками, хотя суда над ними не было.

Попробуем разобраться в этой аргументации. Прежде всего надо сказать, что правовая система не может быть ключом к пониманию истории, она призвана выполнять совершенно иную функцию — служить регулятором жизни общества на данном этапе. Отсюда вытекает, с одной стороны, необходимость посадить на скамью подсудимых вора или бандита, а с другой — бессмысленность уголовного процесса над Скуратовым или Тимуром. Называя их преступниками, мы выносим нравственный, а отнюдь не юридический приговор: правовые меры к ним никогда не применялись. Для развития человечества в данное время вполне достаточно «приговора Истории». Если же современное общество вдруг сочтет, что не может нормально существовать без точного юридического выяснения преступлений Тимура, то такой суд должен состояться.

Безусловно, что и по отношению к сталинизму следует отделять вопросы моральные от вопросов юридических. Это принципиально важно. Моральную ответственность за преступления, совершенные в России, несут в той или иной степени не только все без исключения ее жители, но и народы всего мира. Степень эта значительно увеличивается, если говорить о членах коммунистических партий, следующий круг увеличения виновности — все работники карательных органов и т. д. Но это — если речь идет о суде моральном. Иное дело с судом юридическим.

Мы можем не подать руки — вынести моральный приговор — бывшему гардеробщику НКВД, но посадить его на скамью подсудимых, если работа ограничивалась выдаванием номерков, нельзя. Дальше — сложнее. Являются ли уголовными преступниками рядовые охранники лагерей? А следователи, применявшие пытки в дозволенных тогда рамках? Вопросов всех оттенков здесь множество. Ответы на них может дать только открытый процесс над сталинизмом как таковым. Если суд признает эту систему с ее законами преступной, нанесшей колоссальный ущерб всему человечеству, то сами собой решаются многие фундаментальные проблемы. Вопрос о сроке давности неизбежно надо будет решать по аналогии с осуждением фашизма. Отнимется возможность говорить о невинности «рядовых исполнителей». Ведь мы не оправдываем «рядовых исполнителей» акций какой-нибудь банды тем, что они просто подчинялись существующим в ней законам. Если законы преступны, то их исполнители — преступники. Точно так же отпадает вопрос о том, что законы не имеют обратной силы: ведь судить преступников будет не «перестроившаяся» банда, а общество, которое не желает иметь ничего общего с этой бандой.

Поскольку же суда не было, сейчас можно лишь отвлеченно, теоретически рассуждать на эту тему. На мой взгляд, например, охранник лагеря не является юридическим преступником в той части своей деятельности, которая связана именно с охраной заключенных, т. к. сам факт содержания людей под стражей не выходит за рамки ныне существующего в мире представления о человечности. Но уже тот лагерный начальник, который отвечал за содержание узников, по-видимому, может быть признан

преступником, т. к. согласился исполнять указания, попирающие все нормы человечности.

Таким образом, самые общие законы, выработанные человечеством, должны становиться основой для выработки правовых норм, должны отливаться в них. Я подчеркиваю: быть основой, а не заменой или подменой. В противном случае в жизни общества стираются все критерии, перемешиваются разные категории его жизни. У нас, например, создалась такая парадоксальная ситуация, когда человек, укравший шапку, должен идти в лагерь, а по отношению к Кагановичу или Хвату можно ограничиться «приговором Истории».

Итак, если следовать элементарной правовой логике, нельзя не согласиться с Шеховцовым: сталинисты уголовными преступниками сейчас не являются. Речь может идти только о моральной ответственности. А тогда все сразу становится очень простым, твердая почва непременно уйдет из-под ног обсуждающих этот вопрос, если они являются людьми разных мировоззрений. Точкой столкновения станет вечная проблема о цели и средствах, а надеяться на ее скорое решение весьма наивно. Я лично совершенно уверен, что вне религиозной системы ценностей не существует безусловных доказательств непоколебимости того, чтобы меньшинство приносило в жертву интересам большинства. «Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика», — утверждает один из героев Достоевского. Нарушить этот «арифметический» закон может лишь представление о том, что человек создан по образу и подобию Божию и вследствие этого представляет собой а б с о л ю т н у ю ценность. Один абсолют ничуть не меньше ста абсолютов: «арифметика» здесь не срабатывает. Христианство же утвердило путь к мировому спасению не через жертву «строительную», а через искупляющее самопожертвование: не распять, а сораспяться вместе со Христом.

Возвращаясь к непосредственной теме статьи, можно предположить, что сталинист, не признающий, естественно, христианскую систему ценностей, будет оправдывать все совершенные преступления как неизбежные на пути к грядущему мировому счастью. И я сомневаюсь, что у его оппонента найдутся неопровержимые теоретические контраргументы. Уверен, что спор этот и бесконечен, и бесплоден.

Совершенно по-иному будут обстоять дела, если перевести разговор из плана морального в юридический. Мировоззренческий спор уступит место выяснению фактов совершения преступных деяний. Очевидно, что даже по ныне существующим законам сталинизм в целом является тяжчайшим преступлением. Но также очевидно и то, что огромное количество фактов и ситуаций, которое неизбежно всплывет на объективном процессе, если он будет проводиться с гуманистических позиций, вступит в противоречие с нынешним законодательством, выявит его несоответствие правовым и моральным нормам современного цивилизованного человечества. Таким образом, данный процесс мог бы стать и лабораторией по созданию нового, гуманного правового механизма.

Скажем же спасибо Ивану Шеховцову за то, что он, сам того не желая, вскрыл один из нарывов нашего общества. Пристально взглядевшись в «дело Шеховцова», нельзя не сделать такого вывода: если мы хотим жить в правовом государстве, то мы не должны неправовые «тройки» ста-

линского времени заменять честным и благородным, но опять-таки неправовым судом Алены Адамовича.

Замечу в конце статьи, что точно так же, как Шеховцов обнажил отсутствие у нас правового мышления, Нина Андреева показала, что, все время повторяя слово «гласность», мы имеем об этом понятии весьма своеобразное представление. Из-за чего, собственно, разгорелись страсти? Ну, высказал человек свои взгляды. Если кому-то они не нравятся, то следует попытаться их опровергнуть. Однако общество ополчилось даже и не на взгляды Андреевой, а прежде всего на саму возможность появления такой публикации: все бросились высказывать тех из сильных мира сего, кто стоял за автором статьи. Поэтому не откажешь в логике Шеховцову, когда он говорит, «что наша сегодняшняя гласность — улица с односторонним движением, она только для тех, кто клеветает на Сталина и нашу историю «сталинского периода»».

Однако нравственное чувство любого честного человека должно подсказать, что взгляды Андреевой и Шеховцова есть не просто мнение, равноправное с любым другим. Основой этих «взглядов» является стремление утвердить преступность как идеальную форму государственного строительства, а значит и стремление (пусть неосознанное) надругаться над человеческой личностью. Любое общество, признающее правомочными «взгляды» человека, пропагандирующего, например, изнасилование, представляет собой преступное образование — банду насильников.

Выход из данной ситуации только один. Нравственная оценка должна не подменить юридическое решение вопроса, а подтолкнуть к такому решению. После того как будет вынесен приговор сталинизму, мнения андреевых и шеховцовых потеряют свою равноправность с другими мнениями. Их пропаганда будет запрещена без ущерба для гласности, т. к., в свою очередь, станет уголовным преступлением пропаганда и агитация, проводимой в целях «совершения особо опасных государственных преступлений».

Итак, из всего сказанного вытекает, что одной из самых страшных болезней, поразивших наше общественное сознание, является смешение категорий моральных и категорий правовых. Эта болезнь не нова — ей 70 лет. И не преодолев ее, мы никуда не уйдём от сталинизма, который так ругаем. В сталинский период подмена шла лишь в иной последовательности: юридические законы подменяли собой общественную мораль, т. к. нужно было все представления вытравить о прежней, дореволюционной морали. Сейчас порядок подмены изменился, но, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Шаткая общественная мораль стремится не повлиять, а заменить собой твердые юридические законы. От этой подмены несут урон «обе стороны». В равной степени тормозятся и развитие общественной морали, и формирование правового сознания.

Повторяю, что с моей точки зрения именно «нюрнбергский процесс» над сталинизмом мог бы стать решающим этапом на пути выработки того и другого — двух взаимовлияющих, но неслиянных категорий — морали и права.

Август—октябрь, 1988 г.

Сначала в апрельском выпуске телевизионного talk-show «Взгляд», а затем и с трибуны съезда народных депутатов прозвучало требование, которое еще 2—3 года назад было немыслимо: речь идет о Мавзолее В. И. Ленина, о неприемлемости такой формы увековечения памяти вождя, которая противоречит общепринятым человеческим ритуалам, или, если хотите, таинству погребения. Разумеется, многие были возмущены. В общественном мнении резко обозначились две позиции: одни рассматривают как оскорбление памяти В. И. Ленина попытку по-новому взглянуть на феномен Мавзолея, а для других оскорбительна и кощунственна именно такая форма поклонения его памяти.

Эссе «Мадам Тюссо и товарищ Крупская» написано мною четыре года назад. На первых порах перестройки его оказалось возможным опубликовать лишь в независимом журнале «Референдум», кото-

рый издавал правозащитник Лев Тимофеев тиражом 50 экземпляров.

В ходе перестройки наряду с экономическими и политическими задачами открыто поставлена и более широкая задача: мы должны, говорит М. С. Горбачев, стать **цивилизованными людьми**. Честно говоря, я не знаю, ставила ли когда-нибудь какая-нибудь страна такую задачу. Выполнима ли она? И что это означает: стать цивилизованными? Ведь как ни трагически складывалась наша история в XX веке, мы все же не с печки упали. У нас есть за плечами Достоевский и Толстой, а в прошлом году мы торжественно отметили 1000-летие принятия христианства.

И тем не менее все понимают, что нам действительно надо стать цивилизованными. Это значит преодолеть изоляционизм. Ведь только у нас культура рассечена на официальную и подпольную, на «здешнюю» и эмигрантскую. А это, в свою

очередь, означает, что в основе разных секторов нашей истерзанной, расчлененной культуры лежат разные этические и эстетические принципы, ценности и идеалы. В общем и в целом — разные концепции человека.

А как же общечеловеческие ценности и нормы? В чем они заключаются?

Мне кажется, что люди могут иметь самые разные представления о том, что хорошо, а что плохо. Но они должны быть согласны друг с другом о безусловной ценности человеческой жизни и свободы. Это и есть общечеловеческая основа цивилизации, к которой нам предстоит вернуться. И об этом — эссе «Мадам Тюссо и товарищ Крупская».

Лариса Лисюткина,
к. ф. н., н. с. Института международного
рабочего движения АН СССР.

ЛАРИСА ЛИСЮТКИНА



КОЛЛАЖ СЕРГЕЯ ДАВЫДОВА

(МАВЗОЛЕЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН)

«И вот тело Ленина выставили в домике под названием «Амавзолей», — хотя вдова его, по слухам, которые дошли до чегемцев, была против, — проходят годы и годы, кости его просятся в землю, но их не предадут земле».

Фазиль Искандер

Москва — столица СССР. Красная площадь — центр Москвы. А Мавзолей — сердце Красной площади. В сокровенных же глубинах этого сердца страны — гроб с мумией, мертвым человеком. Правда, принято говорить, что он не умер, а «вечно живой».

А как обстоят дела у других народов? Что есть, к примеру, «сердце Парижа»? Может быть, Нотр-Дам? Или, может, Лувр? Пантеон? Елисейский дворец? Что за «бес-

сердечная» страна, что за столица, где сразу и не поймешь, есть у нее «сердце» или нет?

Пожалуй, даже Вечный Город Рим с его собором св. Петра и Ватиканом не имеет той безраздельной монополии и неоспоримой «центральности», какая характерна для наших государственных святынь, расположенных как бы концентрическими кругами вокруг Мавзолея. В Риме ведь есть не только Ватикан, но еще и Колизей, а это уже культур-

ный и идейный плюрализм, «мирное сосуществование» языческого капища и христианской святыни.

Но ведь и в России до революции не было такой строгой иерархии в топографии официального государственного «центра». Во-первых, существовали две исторически возникшие столицы, каждая со своим уникальным обликом, отражающим вполне определенную традицию и соответствующую ей культурно-историческую символику и эстетику. Резиденцией императора был Зимний дворец, а коронация происходила в Москве. А самое главное в контексте нашей темы — это тот неоспоримый факт, что не только в дореволюционной России, но и нигде в мире — по крайней мере в европейском мире, возникшем на базе христианской цивилизации, — никогда символическим центром официального государства не являлись могила, захоронение и тем более натуралистически забальзамированный труп.

Разумеется, во всех государствах есть почитаемые народом могилы. В том же Париже есть Пантеон, но есть и Стена коммунаров — многие чтят разных героев, разные традиции в истории своей страны. О поклонении могилам русских царей в Петропавловской крепости или же в Архангельском соборе Московского Кремля ничего не известно, хотя их надгробия — иногда пышные, иногда скромные — сохранились до наших дней.

Как же могло случиться, что многонациональное и многоконфессиональное население нашей страны смирилось со странным и страшным фактом, узнав, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу на всеобщее обозрение?

Вопрос законный, но до недавнего времени его нельзя было задать вслух. Никто не попытался найти объяснение такому парадоксальному факту: революция, претендовавшая на тотальное обновление мира, и ее вожди, провозгласившие себя непримиримыми врагами религии, возродили практику мумификации, от которой общество отказалось тысячи лет назад.

Можно сказать — и это будет справедливо, — что отказ от всего традиционного, консервативного, вызов устоявшимся порядкам в высшей степени созвучны с революционностью. Ведь не кто иной, как патриарх мирового коммунизма Ф. Энгельс, еще до Ленина, по собственной воле отверг освещенный веками ритуал погребения, завещав развезти свой прах с высокой скалы над морем. Это завещание, безусловно, неизмеримо более поэтично, чем грубый площадной натурализм Мавзолея. Но отдаленное родство между ними все-таки улавливается.

Пафос Октябрьской революции заключался в притязании на абсолютное обновление мира. «Мы наш, мы новый мир построим» — это не литературная метафора, а буквальное представление о происходящем тех, кто был втянут в революционный процесс на стороне победившей революции. Разрушение было нацелено не только на политическую систему или же экономическую основу русского царизма, но и на исторически сложившийся тип социокультурных отношений, в принципе тождественных типу цивилизации, модели развития в ее целостности. И никто не задавался вопросом о том, насколько возможен демонтаж культуры без возврата к докультурному состоянию, к архаике, к варварству.

Культура не сводится только к художественному творчеству. Культура — это вырабатываемый веками способ сосуществования индивида и общности, обеспечивающий их сохранность. Именно этой цели служат религиозные, этические и юридические нормы поведения и запреты, первейшим из которых (после запрета на инцест) является запрет на убийство. О степени зрелости той или иной цивилизации, об уровне ее развития свидетельствует, наряду с другими признаками, допускаемый в ее рамках диапазон нарушений принципа «не убий»: войны, смертная казнь, жертвоприношения, кровная месть и другие известные в истории легальные убийства. Чем шире спектр допущен-

ных убийств, тем ниже гуманистический ранг цивилизации.

В ходе революций происходит частичный слом культурных механизмов запрета на убийство. В первобытных обществах есть аналог этому явлению: периодические ритуальные нарушения табу в пределах сакрального времени, главным образом годовых праздников. Концепция циклического времени в древних цивилизациях давала возможность бесконфликтно возвращаться к соблюдению табу по истечении сакрального (праздничного) периода. Но революционное сознание ориентировано на линейное, поступательное восприятие времени. Цель Октябрьской революции — утопический рай в будущем, под названием «коммунизм». Поэтому общество не могло вернуться к соблюдению отвергнутых в ходе революции нравственных табу. Наоборот, практика повседневных убийств превращается в оправдание всеобщего блага и вечной жизни в будущем. То, что люди верили в победу над смертью при коммунизме, подтверждается свидетельствами той поры. И чем больше они сеяли вокруг себя смерть, тем нужнее им были наглядные символы будущего бессмертия.

«Мысль о сохранении тела В. И. Ленина возникла в самой гуще народных масс, — пишет профессор Б. И. Збарский, входивший в состав бригады по забальзамированию трупа вождя. — Особенно настойчивые просьбы поступали с периферии. Группа киевских железнодорожников просит: «Немедленно поручить соответствующим специалистам разработку вопроса о сохранении тела дорогого Владимира Ильича на тысячи лет». Учащиеся из Ростова-на-Дону пишут: «Схоронить в земле не редкость, а сохранить на много лет, вот что может сделать только коммунистическая партия». Еще одно требование: «Тело Ильича не предавать земле, а забальзамировать и поместить в центральный музей; этим самым рабочие будущих веков будут иметь возможность видеть вождя пролетариата».

Нам сейчас, более полувека спустя, трудно найти адекватное отношение к этим человеческим документам той эпохи. Люди были выбиты из всех норм и рамок, самые сокровенные культурные ритуалы, на которых держится человеческая общность, утратили для них значение. Прорвав все сдерживающие плотины, из глубин подсознания на поверхность хлынула архаика. Только так «в самой гуще народных масс» могла возникнуть чудовищная идея забальзамировать вождя и «поместить в центральный музей». Страшно подумать, какого рода другие предложения могли содержаться в письмах из глубинки, если даже просвещенные и повидавшие мир соратники покойного не содрогнулись при мысли о том, каково будет его вдове жить бок о бок с его забальзамированным трупом. Вдова, как известно, протестовала против такого натуралистического увековечения памяти своего мужа, но ведь известно и другое: преемник умершего неоднократно грозил строптивой женщине «назначить Ленину другую вдову».

Бывала ли Н. К. Крупская в Мавзолее? Стояла ли рядом с саркофагом, в котором «как живой» лежит выставленный напоказ труп ее мужа? Такое не придет в голову никакому Хичкоку. Жизнь богаче любой фантазии. Можно ли придумать, например, такое: «В январе 1944 года «Известия» сообщили, что учеными получен целый ряд новых улучшений в состоянии тела Ленина»? Оказывается, чем дальше, тем лучше — вот это оптимизм!

Интересный факт — о нашей главной политической святыне написано очень мало. Всего три автора решились взяться за эту, казалось бы, «сто процентную» в смысле идеологического престижа тему. И лишь один из них, искусствовед С. О. Хан-Магомедов пытается не впрямую, намеками, затронуть проблему культурного слома, в результате которого мы рухнули в архаику, в докультурное состояние. «В прошлом размеры и величолепие мемориальных сооружений, в том числе и Мавзолея, отражали не столько роль того или иного исторического деятеля или отношение к нему современников, сколько его социальное

положение в обществе», — пишет С. О. Хан-Магомедов. Добавим к этому: они отражали еще и тип общества, его идеологию и систему ценностей. Что представляет собой в этом ракурсе «наш» Мавзолей?

Для ответа на поставленный вопрос существенно такое обстоятельство: практически все мавзолеи прошлого построены «для себя», так сказать, будущими покойниками, озабоченными своей посмертной славой. Для потомков и наследников они являлись «постаментом» своего собственного социального статуса, обоснованием политической власти. Мавзолей Ленина — исключение, он был построен без его согласия и вопреки воле его жены. Кому же он был нужен? Разумеется, в первую очередь — его кровожадным, примитивным, «азиатским» наследникам. В этом смысле Мавзолей — постамент Большого Террора, более того — фундамент новой культуры, в которой смерть как бы отрицается. На эту тему нет ни научных исследований, ни художественных произведений. Это табу необходимо потому, что никогда, за исключением, может быть, больших эпидемий чумы в Западной Европе, смерть не вторгалась так властно в жизнь, не переплеталась с ней так тесно.

Символ мнимого бессмертия был нужен как оправдание и обоснование уничтожения миллионов людей, нужен обеим сторонам — и тем, КТО уничтожал, и тем, КОГО уничтожали. Как бы кощунственно это ни звучало, но между жертвами и палачами в тот страшный период существовал консенсус, согласие относительно смысла происходящего. Как иначе объяснить, что периодически они менялись местами, что вообще террор мог существовать как целая эпоха — без малого 30 лет, и породить «остаточный отблеск» — еще на 30 лет, и еще не известно, как дальше повернется кормило нашей истории. Во всяком случае, нет оснований говорить, что «консенсус смерти» полностью изжит в ходе нынешних отрядных перемен. Наследников у него хоть отбавляй.

В 1949 году по методу советских медиков было забальзамировано тело вождя болгарского народа Георгия Димитрова, в 1969 году — тело руководителя вьетнамского народа Хо Ши Мина. Что ж, мы люди не жадные. Пусть будет «всем сестрам по серьгам». В результате тиражирования Мавзолея снизился накал его сакральности. Посмертные злоключения «отца народов» И. В. Сталина — его «вселение» в Мавзолей и затем «выселение» оттуда — еще больше способствовали всеобщему отрезвлению: появились хлесткие анекдоты, едва поспевавшие вдогонку за каскадом «сиятельных трупов» первой половины 80-х годов. «Консенсус смерти», подточенный скепсисом и разочарованием в 60—70-е годы, стал стремительно сдавать позиции в 80-е. Мы видим множество признаков этого процесса. Но есть и другие симптомы.

Ежегодно Мавзолей Ленина посещает до 2,5 млн. человек. Каждый день — до 12 тысяч, а по воскресеньям — до 15 тысяч. С 1924 года Мавзолей посетило свыше 100 млн. человек.

Никто никогда не проводил социологического изучения феномена Мавзолея. А жаль. Давно назрели вопросы, ответы на которые должна дать «государственная очередь № 1»: сколько в ней москвичей и сколько приезжих? какой возраст преобладает? сколько в среднем люди стоят в очереди? есть ли сезонные (или предпраздничные) наплывы и спады в посещениях? и, конечно, самый сакральный вопрос: почему вы сюда идете?

До сих пор Мавзолей был реально работающим храмом. Народная тропа не заросла к нему и по сей день. Но ведь не пустует тропа и на подходе к музею восковых фигур мадам Тюссо. Вопрос в том, что происходит в душах и головах посетителей. Есть ли у сегодняшнего гостя столицы, отстоявшего после всех очередей за колбасой, водкой, детскими колготками еще и 6 часов «к Ленину», тот пиетет и то религиозное упоение, которое испытывали в течение многих десятилетий его отцы и деды? Или, выходя на свет Божий из торжественного подземного склепа, он с одобрением

скажет примерно то же, что сказал бы, если бы сподобился побывать у мадам Тюссо: «Ну, блин, прям как живой!». Во фразе этой, лишенной какого бы то ни было разочарования, нет и прежнего религиозного трепета — человек добыл в поте лица своего хлеб, а теперь жаждет зрелища. Что тут плохого?

Напротив, если бы это было так, — как на самом деле, никто не знает, — то мы бы могли дать примерный ответ на вопрос: каков же выход из положения? Ведь, соорудив Мавзолей, мы как бы поймали себя в ловушку — попробуйте-ка теперь от него благопристойно избавиться. Сотворить кумир много легче, чем его низвергнуть. Понимая сейчас всю глубину краха культуры, выразившуюся в феномене Мавзолея, мы понимаем и другое: за то время, которое потребовалось нам для этого осознания, Мавзолей реально стал объектом и связующим центром ритуального гражданского поведения в рамках нового культурного консенсуса. Призывы к его разрушению как минимум нецелесообразны. Неосторожная, резкая секуляризация Мавзолея может повлечь за собой непредсказуемые последствия, подобные тем, которые сопутствовали его возникновению.

В культуре не стоит ничего ломать. Тем более святыни. Не стоит нам быть прилежными учениками большевиков, варварски вышвыривавших из православных храмов мощи и реликвии, а затем соорудивших свое собственное первобытное капище. Но если мы хотим включиться в цивилизованное человеческое сообщество, то нам придется честно и мужественно сказать, что такое Мавзолей и как к нему относиться. Не стоит при этом акцентировать роль и достоинство личности, ради которой он воздвигнут. Это — особый вопрос, третьестепенный по сравнению с сутью самого феномена. А суть его в том, что Мавзолей действительно стал символом Нового Мира, сердцевина которого — Смерть, выставленная на всеобщее обозрение и выдающая себя за Жизнь. Эта подмена — прародительница остальных обманов, той Большой Лжи, в которую переродилась народная правда революционной утопии. В тоталитарном социуме личность уничтожена изначально, грань, отделяющая бытие от небытия — условна. Нас нет даже тогда, когда биологически мы живы. Но и жизнь деспота, венчающего эту иерархию небытия, тоже лишена всего человеческого, а следовательно, тоже не-бытие. В романе Дж. Оруэлла «1984» никто — даже самые высокопоставленные члены «внутренней партии», не знают, жив Большой Брат или умер, человек это или символ.

На самом деле это не имеет никакого значения. Результат всегда одинаков — миллионы безымянных братских могил, в которых, с бирками на ногах, покоятся безымянные ЖЕРТВЫ РЕВОЛЮЦИИ — в точном словесном смысле этого выражения, ибо убиты они самой революцией, а не ее врагами. На одной чаше весов — Мавзолей, на другой — эти бесчисленные могилы на Колыме и на Соловках, в Воркуте и в Казахстане. Они и есть затоптанные святыни, и спасение и искупление народа зависит сейчас от того, найдет ли он путь к этим святыням.

А что же Мавзолей? Он — тоже часть нашей истории, памятник эпохи, которая отчасти уже в прошлом, но только отчасти: кто-то проскочил, а кто-то застрял. Он выразителен и нагляден, ибо ярко отражает существующую политическую реальность: концентрации власти соответствует концентрация эмоционального и ритуального культового комплекса вокруг единственного центра. В западных демократиях, где нет тотальной концентрации власти, нет и соответствующего «уплотнения» ее символики.

Разрушать Мавзолей было бы неразумно, но искусственно консервировать его на веки вечные — преступно. Достаточно хотя бы не отставать от массового сознания, в котором уже идет полным ходом процесс расколдования этой сомнительной святыни. Важно не упустить момент, когда, не оскорбляя чужих чувств, можно будет перевести это зрелищное учреждение на самофинансирование и хозяйственный расчет, продавая билеты любознательным посетителям, как это делает мадам Тюссо.

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС

СКАЗКИ О ГЕРМАНИИ

9. Путем Ужа

Циники говорят, что человек есть то, что он ест. Будучи уверенными в справедливости этих слов, все-таки рискнем утверждать: то, что он пьет, не менее важно. Страны и народы делятся по напиткам не хуже, чем по религиям.

Миниатюрные японцы пьют горячее саке из крохотных чашечек. Саке пьянит быстро, но ненадолго. Что великолепно подходит к их пониманию доблести: японец должен обладать мужеством, чтобы показаться в пьяном виде, и отвагой, чтобы в нужный момент хмель преодолеть.

Американцы пьют коктейли. И в этом сказывается национальная черта — страсть к комфорту: апельсиновый сок отбивает мерзкий вкус виски. Потому у русских и не привились коктейли, что в них замаскирована этическая сторона пьянства: сивуха отвратительна, ибо в ней путь к блаженству. Ничто не дается даром, за все надо расплачиваться. Водка справедлива, как велосипед, — чем труднее в гору, тем легче с горы. Народ, не избалованный теплыми сортирами, естественно предпочитает суровую правду обманчивому комфорту.

А немцы пьют пиво. Напиток, в первую очередь, обстоятельный. Пиво социально. Оно предполагает большую компанию, обставленную ведрами и бочками, многометровыми скамьями и, конечно, кружками.

Когда алхимик Бетгер в начале XVIII века вместо философского камня открыл в Дрездене фаянсовую фабрику, он не знал, что изобрел общенациональный символ. Отныне пиво — содержание — приобрело адекватную форму — кружку. Голуби, косули, пастушки — вся флора и фауна поместилась на пивной кружке Германии, и в таком виде она могла бы стать гербом страны.

Если бы Феллини снимал фильм о Германии, ему бы стоило начать с панорамы мужской уборной. Скажем, при знаменитой мюнхенской пивной «Хофброй». Это фабрика по изготовлению первосортной мочи. Издалека шеренги писсуаров похожи на клавиатуру гигантского рояля. И обобщенный немец своей бодрой струей заставляет журчать инструмент в ритме марша.

Хорошо в «Хофброй»! Здесь есть чувство локтя, которое недоступно вечно темному нью-йоркскому бару (как будто школьники погасили свет «для интима»).

В германской пивной свет горит ярко. Люди сидят широко, развалившись. Сюда ведь не забегают на пять минут. Да и одолеть литровую кружку надо умеючи — просунуть большой палец в ручку, а всей ладонью обнять ливного мастодонта, как любимую и законно принадлежащую тебе женщину. Любо смотреть, как лихо с этим справляются и спортивные студенты, и плечистые матроны, и их крепкие дети.

Хотя по-настоящему пиво пьют только завсегдатаи. Для

них — буролицых, седовласых, в болотного цвета штанишках и шляпах с пером — есть свои орудия производства: именные кружки, хранящиеся во время редкого досуга в специальных гардеробах с замочками и номерками. Эти люди уже прошли все круги рая и выбрали свой собственный здесь, в «Хофброй». Где чувство локтя, где картофельные кнелики, где музыканты, уложив арбузные животы на колени, извлекают из аккордеонов польки, похожие на марши, вальсы, не отличимые от маршей, и марши сами по себе.

Эта бодрящая атмосфера так захватывает, что иностранцы, отважившиеся посетить мюнхенскую достопримечательность, вливаются в праздник, сами не замечая того. Вот уже притоптывает американская старушка в буклях, и негр хлопает себя по ляжкам в баварском стиле, и японцы повели блевать приятеля, не справившегося с германскими масштабами, да и мы сами, поддавшись порыву, поддержали веселье: «Ур-ра!»

Все вздрогнуло за нашим дубовым столом. Болотный старожил дружелюбно поднял заслуженную кружку и членораздельно произнес: «Сталинград. Капут. Сдаешься?».

Да, это не Америка. Тут некому объяснять, что медведи редко заходят на Красную площадь.

Две войны, фашизм, геноцид превратили Германию в мировое пугало. В России по-немецки говорят сейчас только полковники гестапо в военных боевиках. Во время маневров гипотетический противник — всегда ФРГ. Наш главный сосед в Европе стал врагом в абсолютной степени. Может, потому, что мы их знали лучше других.

Немцы на Руси представляли Европу. «Словяне» — это те, у кого есть слово, кто умеет говорить. «Немцы» — немые, без языка, иностранцы. Когда-то все европейцы были немцами.

В этом простодушии — остатки исторической памяти. Ведь германцы действительно были Европой. После падения Рима континент, ограниченный с запада океаном, а с востока Карпатами (для всех, кроме нас, Европа всегда кончалась Карпатами. Урал — это уже дань политической вежливости), был так или иначе германской вотчиной. Когда римский мир ушел в Азию, все досталось варварам. Германия от моря до моря — вот как скучно выглядел такой лоскутный сейчас континент. А где-то за ойкуменой жили еще более варварские славяне. Они были соседями и врагами еще тогда, когда на европейской карте размещались племена, а не страны. С тех пор и велся русскому человеку немец в печенки — солдафон, скряга, человек без души и удалы. К тому же — власть, правительство, государство. Вечно у русских царей немецкие отчества. Разве не учила великая Екатерина день и ночь русский, чтобы избавиться от твердого германского акцента?

И все равно мы похожи. Потому и воевать немца можно, что свой человек. И выпить, и подражаться. И в лицах у них что-то неправильное — то нос, то уши, то некоторая

(Окончание. Начало в № 11.)

скособоченность. Нет этой американской стерильности, пахнущей «листерином» и противопотной сывороткой. А тут — прыщи!

В «Альте пинакотеке» висят десятки старинных немецких полотен, а их прототипы пьют пиво в «Хофброй». Сегодня. Есть в них какая-то сила, некрасивая, выпирающая, но на то и варвары. Может, о них и писали предавшие философию греков киренаики: «Телесные наслаждения много выше духовных, и телесные страдания много тяжелее: потому что они и служат наказанием для преступников».

Северное (все равно германское по духу) искусство полно этим тезисом. Слава Богу, оно никогда не доросло до итальянского реализма. Это когда ангелы в натуральную величину одухотворяют мадонну. У германского художника нет ничего красивого. Он все-таки бюргер. Но дело свое знает. Если на полотне отсечение головы, то из шеи будут хлестать три струи крови — столько, сколько положено. Им лучше знать.

Эта деловитая жестокость пронизывает всю северную живопись. На алтарном триптихе Гольбейна злодеи стреляют в святого Себастьяна сантиметров с десяти — чтобы не промахнуться. И относятся они к делу спокойно, без экзальтации. Особенно тот, кто перезаряжает арбалет, подетски держа стрелу зубами. И земляника на переднем плане. Сочная! Ей-то что...

Смертная казнь — народный праздник. Этого тогдашние художники не забывали. И в «Распятии» Яна ван Эйка, и в «Голгофе» Брейгеля люди валом валят на экзекуцию. С детьми, стариками — не каждый день человека распинают.

В этой замечательной будничности та же поэзия, что в черепичном раю Ротенбурга. Дюрер пишет оскорбленную Лукрецию, но, несмотря на порыв сочувствия, не забывает изобразить ночной горшок у нее под кроватью. (Позднее язвительный Виланд с немецкой обстоятельностью замечает: «Заурядная добродетель заперла бы свою спальню; возвышенная Лукреция оставила ее открытой».)

Да, великий Дюрер, о котором Эразм Роттердамский писал: «Он рисовал огонь, лучи света, гром, человека и почти его голос», — сам относился к своему дару намного спокойнее: «Одного только ультрамарина мне нужно на 20 дукатов. Убежден, что, когда картина будет закончена, вы сами скажете, что никогда не видели более красивой вещи».

Нигде и никогда нас не оставляло пагубное заблуждение: итальянцы писали похоже. То есть немцы — приземленные бюргеры — создавали романтическое, гротескное, фантастическое, а итальянцы копировали натуру. Хотя где, спрашивается, они видели ангелов?

За итальянцев весь мир. Они повсюду в чести. Не зря Болонская школа, давшая миру Гвидо Рени и Лактионова, называлась «Академией вступивших на правильный путь».

Немцы с самого начала шли по пути, вредному для всего правильного. На их картине больше чертей, чем ангелов. Чуть ли не любой северный художник рано или поздно писал что-нибудь «адское». Монстры всегда жили под боком тихого бюргерского царства. Даже крестьяне у Брейгеля, прозванного за любовь к простому народу Мужиком, тоже монстры. Деятельные, добросовестные гомункулы, пир которых страшен и неаппетитен.

Совершенно непонятно, где — на Севере или на Юге — было больше реализма, если это слово что-то значит вообще.

И там, и тут художники пребывали в царстве вымысла, только одни в виде Сокола, другие в облики Ужа. Итальянцы произошли от фрески, писали широко, просторно. Немцы шли путем книжного червя — от миниатюры, иллюстрации, сюжета. У них все мелкое, тщательное, скрупулезное. Еще современники поражались волоскам, выписанным по одному, на «Автопортрете» Дюрера. И в этом весь характер прекрасной германской музыки, которая не парит, а бредит.

10. Поэзия чиновников

У каждого народа свой звездный час. Момент, когда

все тенденции его культуры собираются в наиболее выпуклый и законченный образец. Час этот может быть даже не самым блестящим, но наверняка самым характерным. Все, что было до него, послужит этому образцу строительным материалом. Все, что будет после, станет на него равняться, с ним спорить, от него отрекаться.

У нас таким образом, наверное, так и останется Пушкин. У немцев — романтики. И вовсе не потому, что лучше их не было. Просто в немецких романтиках начала XIX века собрались в фокус лучи капризного и неповоротливого германского гения, чтобы разрешить главный конфликт немецкой истории — конфликт поэта и бюргера.

Все немецкие писатели служили чиновниками. От Виланда до Шиллера. От Гете до Кафки. От письмоводителя до премьер-министра. Германия, кажется, единственная в мире страна, в которой свободный художник постоянно отсиживал присутственные часы.

Между прочим, служили они хорошо, и начальство было ими довольно. Гофман, например, считался знающим исполнителем юристом. Кафка был директором департамента, признанным специалистом по социальному страхованию.

Все они ненавидели свое хлебное место и все были вынуждены за него держаться. Классический конфликт парящего в облаках Сокола с ползающим в потемках Ужом для немцев решался в самой непосредственной жизненной ситуации. Поэта загнали в контору и предоставили ему там бунтовать в не опасных для общества формах.

Тут-то немцы и изобрели иронию. Они видели в ней единственный выход из положения. В самом деле, если «чем люди являются среди прочих творений природы, тем являются художники по отношению к людям», то что делать художнику в роли письмоводителя? Смеяться. Точнее, ухмыляться не обидным для начальства образом.

Ирония требовала от художника несерьезно относиться к жизни (поэт и писарь в одном лице!). Затем — несерьезно подходить к своему творчеству (писарь и поэт!). А уж потом находить что-то значительное в создавшемся положении.

Немецкий писатель должен был привыкнуть менять облика со сказочной быстротой (не зря они так любили сказки). Ирония, как кулисы, прикрывала лихорадочное переодевание. Потом кулисы исчезли, и остался Гофман, для которого в этой комедии масок был заключен полноценный, самодостаточный мир. То волшебник, то архивариус, взад-вперед и всегда понарошку.

Крестный отец немецкой иронии Фридрих Шлегель отчетливо понимал, какую перспективную вещь он выдумал: «В иронии все должно быть шуткой и все всерьез, все простоушно открытым и все глубоко притворным. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда попеременно нужно то верить, то не верить, покамест у них не начинается головокружение».

Менялись эпохи, забывались страсти классических героев, но оставалась ирония, решающая для каждого поколения главный конфликт нового времени — поэт и толпа, художник и чиновник, труд и праздность, высокое и низкое.

Ладно там поэты — кто в наши дни говорит стихами? Но ирония дала рецепт неуязвимости и в повседневной жизни, защитив человека от «звериной серьезности». Почему неуязвим Швейк, богемский отпрыск немецких романтиков? Потому что он сам не знает, когда придуривается, а когда и вправду идиот.

От скольких бед нас спасает ирония, и как страшна судьба людей, вззирающих на вещи прямо.

Немцам ирония заменила революцию. Она стала спасительным компромиссом между жизнью и идеалом. Более того, ирония сделала этот компромисс веселым и симпатичным.

Теперь романтики по-прежнему воевали с буднями за сказку. Но не очень. То есть находили и в буднях кое-что приятное. И в результате научились писать одновременно и сатиру на филистеров, и идиллию об этих же самых

филистерах. Далеко не всегда просто отличить — в сочинениях Гофмана, скажем, — одно от другого.

Они были немцами. И они не могли игнорировать свое великое одухотворенное мещанство. Та самая рогенбургская черепица что-то значила и для них.

Вот, например, самый возвышенный из романтиков, Новалис, пишет в своем невыносимо поэтическом романе: «Горное дело пользуется благословением Господним. Ничто другое не дает столько счастья и не придает столько благородства. Пение и игра на цитре — постоянные спутники рудокопа, и никто не чувствует очарование музыки, как он».

Господи, ну почему рудокопы? Почему не столяры, не кузнецы, не бочары? Впрочем, есть чудесный рассказ Гофмана «Мартин-бочар». Есть сказки, в которых действуют юристы, делопроизводители, таможенники. Есть целая плеяда романтических героев, с которыми Байрон отказался бы здороваться.

Немецкая ирония остроумно приспособила мещанство в дело создания несерьезного мироощущения. И вот Германия, сквозь войны, фашизм, демагогию, сумела протащить этот милый компромисс в свою странную литературу, в свои игрушечные города, а главное, в чувство «германскости», связанное все-таки не с Гитлером, а с гофмановским Шелкунчиком. С вечной рождественской атмосферой, которой так приятно наслаждаться в сегодняшнюю слякотную эпоху.

11. В масштабе Гете

На въезде во Франкфурт-на-Майне висит плакат, изображающий город в 1990 году. Замечательный будет город. Повсюду черепица, булыжные мостовые, фахверковые дома с нарядными балками перекрытий, стрельчатые окна, покрытые финтифлюшками фасады. Короче, город как город, а не этот сегодняшний оттиск аквариумного Хьюстона. Франкфурт готовится к славному будущему, старается, строится, но подъемных кранов не видно. Только леса — ведь любой дом в три этажа. Делается все, чтобы сделать Франкфурт таким, каким он был триста лет назад. И у них наверняка получится. Ведь немцы так любят свою старину.

А с другой стороны, кто не любит? По миру шатается непобедимая армада туристов, которая повсюду трепетно ищет древности.

Зачем, спрашивается, американской старушке руины? И ведь самое сильное впечатление старушка испытает, когда ей скажут, что руинам тысяча лет. Ну и что? Хоть две. Почему мы приходим в раж, когда видим скучный обломок, под которым стоит дата, оканчивающаяся магическими буквами «до Р. Х.»? Зачем нам история? Разве хлеб от нее, как говорил кто-то из великих, станет дешевле?

Впрочем, тяга эта не повсеместна. Презирала же наша знакомая бабушка Ригу за потемневшие от времени здания. Другое дело — чистый шахтерский город Луганск, где самый старый дом построен при Маленкове. Кстати, Карамзин тоже хвалил города за их свежий молодецкаватый вид: «Берн есть хоть старинный, однако ж красивый город».

Но и Карамзин, и бабушка уже сами принадлежат истории. Нынешнее же поколение страстно любит седую древность. Оно стоит у Колизея или пирамид и шепчет: «Вот жили люди!».

Века прикрывают многое. Пыль времен преобразует жестокость в героизм, вульгарность в карнавал, пошлость в добродетель.

Особенно это заметно в Нью-Йорке. Ведь этот оплот всего наисовременнейшего весьма стар. Точнее, старомоден. Стоит только чуть-чуть обжиться, и из Нью-Йорка вылезут газовые фонари, обитые бордовым плюшем лифты, фамильные портреты в аршинных рамах. Тут повсюду купеческое барокко. Или ржавая фантазия «арт нуво».

Жюль Верн, влюбленный в страну будущего — Америку, был бы удивлен прогрессивным обликом современного

Нью-Йорка. Ведь Бруклинский мост так и остался криком железной моды. И еще живут железнодорожные ангары, фонтаны плодородия Централ-парка, львы Публичной библиотеки, бесконечная латынь на фронтонах дворцов Даунтауна, конные памятники президентам и бронзовые индейцы, приносящие в дар бледнолицым все ту же любимую Хрушевым кукурузу.

Сколько же нужно этой пыли древности, чтобы припошлить неумную пошлость современности?

Две-три пригоршни — и уже кажется чем-то значительным кок на голове Элвиса Пресли, живопись Поллока и ламповый приемник времен Трумэна.

История тянет ляжку облагораживателя нашей суеты. И чем дальше в глубь, тем больше нравится нам свое прошлое. Детство всегда самая сладкая пора жизни. Даже если оно чужое.

Может быть, поэтому историки представляются людьми несерьезными, по-детски влюбленными в свои игрушки — ацтеков, римлян, Византию. Впрочем, только такая нерациональная, бескорыстная и капризная привязанность достояния сильных переживаний.

Один американский миллионер увидел впервые рисунки индейцев майя. Он бросил биржу и стал издавать эти рисунки в виде роскошной факсимильной серии. К десятому тому деньги кончились. Тогда он вернулся на биржу, опять заработал положенные в американских сказках миллионы и довел серию до конца. Где-то она есть и сейчас, переплетенная в кожу роскошная безделка, которую держала в руках сотня-другая специалистов.

У историков странные судьбы. Знаменитый лорд Эванс, открывший крито-микенскую культуру, умер от разрыва сердца узнав, что фашисты затопили его раскопки (на самом деле они их не тронули).

Или был, например, в России такой византолог Федор Иванович Успенский, академик, классик. Первый том его главного труда — «История Византийской империи» — вышел в 1913 году, когда автору было 68. К изданию второго началась революция. Уже набранные листы исчезли. Успенский нашел гранки на базаре — в них заворачивали воблу. Он собрал страницы, добился у советской власти разрешения печатать книгу по старой орфографии, и том вышел. В дику разуху дряхлый историк Успенский занимался проблемами Исварийской династии.

Интеллектуальный подвиг отличается от обыкновенного своей невнятной целью. Вот Матросов прикрыл амбразуру. Космодемьянская не выдала секрета. Муций Сцевола сжег руку. Тут есть все, что нужно для исторических анекдотов. «Из-за стрел не видно солнца», — говорят спартанскому Матросову царю Леониду. «Что ж, будем сражаться в тени», — отвечает царь. Красиво! И для подрастающего поколения полезно.

А Успенский сочинял историю Византии. А Цветаева писала стихи, как Юлиус Фучик, с петлей на шее. И Бунин, нищий злой Бунин создавал «Темные аллеи», которые выйдут в Нью-Йорке тиражом в две сотни и из которых эмигрантские ханжи вырежут самые прекрасные в русской любовной прозе страницы.

Кто кого? Матросов или Бунин? Сцевола или Цветаева? И где цель, польза, победа?

История тоже оперирует эмоциональными понятиями. У нее тоже бывают эпохи-герои и эпохи безвременья. Империи и медвежьи углы. Победители и побежденные.

Вот мы, например, принадлежим к народу-победителю. Мы точно знаем, что русский чудо-молодец всех победил — от Змея-Горыныча до фашистских полчищ. У нас поражение не бывает.

Победа, как и героизм, даром не проходят. За них надо платить, часто очень дорого. Порядочностью, милосердием, уважением к посторонним.

Пока мы населяли собой Россию, нам не избавиться было от имперского комплекса: гигантомания у нас в крови. То-то мы канонизировали Ермака, как всегда перепутав подвиг христианской любви с гражданским служением.

Мудрая и ехидная мадам де Сталь (Наполеон считал

ее «наказанием Европы») утверждала: «Пространства России так обширны, что все теряется в них. У вас может сложиться впечатление, что вы путешествуете по стране, покинутой своим населением».

Нам это безлюдное пространство прибавляло уверенности в себе. Пусть без парламента, зато можем Бенилюкс засунуть в колхоз «Гигант Октября».

Соотношение большого и малого всегда решалось в пользу первого. (Кажется, только евреи выдвинули концепцию «Давид — Голиаф».) Чем больше, тем лучше. Денег, земли, долгов.

Это уже после отделения себя от империи начинаешь сомневаться в достоинствах больших чисел. Только потом замечаешь, что чем больше у человека возможностей, тем больше гадостей он делает.

Маленькие народы, как и маленькие люди, вынуждены компенсировать свою количественную недостаточность другими достоинствами — музыкой, литературой, кулинарией. Или хотя бы миролюбием, доброжелательностью, хорошим характером.

В Латвии, например, делали бекон и миногу. В Норвегии — драму. В Чехии родились Гашек и Чапек.

И гражданские добродетели в маленьких странах — умеренный патриотизм, скромные парады. Диктатор буржуазной Латвии Улманис выдвинул лозунг «как есть, так есть». Разве построишь с таким лозунгом Великую Латвию от Балтийского моря до Охотского?

Конечно, маленькие страны распыляются за свои размеры провинциализмом. Но это уже дело вкуса. Ведь отличный житель тоже не лишен комплексов. В России москвича можно было узнать даже в бассейне.

Провинция, как любая банальность, рождает верные идеи. Скудные, пресные, но вечные.

Время от времени у провинциалов появляется бунтарь, который восстает против банальных соотечественников и пишет революционные гимны протеста. Но гимны эти смягчаются юмором и домашним уютом. (Как это вышло у тех же Гашека и Чапека.) Почва маленькой страны преуменьшает страсти до терпимых пределов.

В понятии «сверхдержава» масштабы изменены до элементарного неудобства: несоотнесенность человека с его государством. Муравей под Эйфелевой башней.

Масштаб — вот, пожалуй, ключ к германской истории. Немцы — единственный великий народ, создавший свою культуру без великого государства.

В XVIII веке 20 миллионов немцев жили в 300 государствах. Апофеоз провинциализма и бюргерской ограниченности, давший миру Дюрера, Баха, Гете и Гегеля. Великий маленький народ, у которого карикатурная география сочеталась с лилипутской политикой.

Жизнь всех этих крохотных княжеств и курфюрств составляла смесь курьеза и достоинства. Их венценосные владыки вводили просвещение официальными рестриками. По Готману это надо было делать так: «Вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу». Потом начиналось украшательство. Мюнхенцы, например, содержали отличную оперу на доходы от картежной игры. Дрезденцы купили «Сикстинскую мадонну». Пруссак пригласили Вольтера.

Конечно, на их счету были не только такие симпатичные дела, как просвещение. Кто-то торговал солдатами. Кто-то душил свободу. Кто-то проявлял нетерпимость. Но в целом — раздробленная Германия интересовалась больше музыкой, чем политикой, скорее культурой, нежели родиной.

(Кстати, в веселом Мюнхене, который для нас навсегда останется лишь городом пивного путча, эта традиция еще жива. «21-летний солдат С. Штраус был избит дирижером Нелло Санти за то, что он осмистал маэстро во время представления «Аиды». Штраус, сын музыкального критика, сказал, что он не согласен с новой трактовкой Верди».

Эта заметка из немецкой газеты вполне могла бы быть цитатой из сочинений романтиков.)

Мы привыкли рассматривать историю как движение к цели. Равноускоренное и прямолинейное движение, как во втором законе Ньютона. И цель эта достаточно ясна: от малого к большому, от простого к сложному, от части к целому.

Если читать подряд, скажем, учебник по истории СССР, то чувствуешь, что по целенаправленной композиции он близок к половому акту. Вот из апатии и лени (феодализм) пробиваются первые неопытные ростки желания (Разин, Болотников, Пугачев). Робкое желание борется с боязнью последствий (декабристы). Наконец, страсть достигает накала (народовольцы, Плеханов). Не дают (1905 год). Животное чувство переходит в экстаз (Февральская революция). И — Зимний, залп «Авроры»... вот!... свершилось!

Закручено, как в «Болеро» Равеля.

Вот за это все и любят историю. Она позволяет с собой проделывать эксперименты в стиле «Трех мушкетеров» или «Истории КПСС». Каждый находит, что ищет.

Естественно, бежав из одной империи в другую, ищешь уголка потише. Вот если бы жить, скажем, в Гейдельберге, скажем, в 1776 году... Люди в париках гуляют по Философской дороге, бурши резвятся в дымных пивных, и на берегу Неккара за стаканом рейнвейна сидит 25-летний Гете, размышляя, ехать ли ему в эту чудовищную дыру Веймар.

«... Неужто вы не хотите днем гулять со своей подружкой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыка Шуберта? Неужели вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером?» Похоже, дом, который предлагал Воланд романтическому Мастеру, находился где-то в этих краях.

Раздробленная Германия была нищей, бесправной, униженной соседями. Ну и что? Как будто для искусства нужно процветание. Было бы желание, охота, вкус к этому бесполезному делу. И появляется оно из ничего — из булыжной мостовой, восковых свечей, пардон, черепицы.

При всех германских дворах содержали музыкантов, артистов, поэтов, ученых. Сколько дворов — столько поэтов. И это дарило Германии приятное, но неопасное разнообразие — мыслей, стилей, диалектов. Франция — это Париж. Англия — Лондон. Германия — полсотни столиц, и еще Шварцвальд, Рейн, Баварские Альпы.

Гете отлично понимал всю сладость немецкой государственной недостаточности: «В чем величие Германии, как не в удивительной народной культуре, равномерно проникшей во все ее части? Но ведь причина этого явления гнездится в отдельных княжеских резиденциях, от них исходит культура, там ее растят и пестуют». Когда Гете рассуждал о жизни карликовых государств, он знал свой предмет досконально.

Веймар был самой заштатной из всех дыр Священной Римской империи германского народа. Чиновники там получали нищенские оклады и, чтобы прожить, подрабатывали на стороне. Например, учитель Музеус (!) сочинял оды к свадьбам и похоронам — по талеру за штуку. Оды были плохими, но покупали нищие соседи поэзию. Странная была эпоха.

Когда Гете приехал в Веймар, там жило 6200 человек. Столько, сколько в одном нью-йоркском небоскребе. К концу жизни Гете говорил: «В этой маленькой резиденции на 10 000 поэтов приходится несколько горожан».

Как это получилось? Почему мировая столица духа переместилась в эти немецкие Васюки?

В Веймаре счастливо объединились все странности немецкой жизни. Просвещенные в меру правители, любознательные граждане и отсутствие великодержавных планов. Армия Великого герцога в составе 600 человек разносила почту и участвовала в охоте. Веймар, как и многие другие немецкие государства, не очень разбирался в патриотизме.

Представить только, в страну ворвались оккупанты — наполеоновские гренадеры. И что же делает отец немец-

кой поэзии, ее слава и гордость, к тому же придворный, Иоганн-Вольфганг Гете? Он говорит: «Как я могу писать песни гнева, когда я не чувствую никакой ненависти? И, между нами, я никогда не ненавидел французов. Как могу я, для кого единственно важны цивилизация и варварство, ненавидеть народ — один из самых культурных в мире? В любом случае дело ненависти между народами — смешное дело».

И ему простили! И современники, и потомки. У нас даже Пушкин не удержался, чтобы не написать «Клеветникам России», не говоря уже о космополите Эренбурге с его бессмертным призывом «Убей немца». А у них, в допотопной отсталой Германии, Гете сошло с рук вопиющее отсутствие патриотизма. Что же все-таки сделала с немцами Бисмарковская империя? Как невообразимо далеко от Гете до Третьего рейха.

Если бы с лица земли исчезла Германия, как этого до сих пор хотелось бы многим нашим соотечественникам, то в памяти потомков, может быть, остался бы один обобщенный немец. И скорее всего, этот немец был бы Гете.

Дело, конечно, не в поэзии. Кому до нее дело? Да и кто станет теперь читать «Ифигению в Тавриде», «Торквато Тассо» или даже вторую часть «Фауста». Для современного читателя все это слишком похоже на «поющие минералы».

Гете велик в другом. Эталон. Образец. Совершенный человек. В него, как в облагораживающее зеркало, можно смотреться в часы морального похмелья. И это не мешает ему быть крайне далеким от принятой человечеством нормы. То-то немецкие философы ведут свой род от внебрачных детей великого поэта.

Гете не был прогрессивным деятелем — «Почему я, собственно, против возжеленной свободы печати? Потому что

она рождает посредственность. Ограничивающий закон благоворен, ибо оппозиция, не знающая узды, становится плоской». Он не был демократом — «Нет ничего хуже, чем деятельное невежество. Невероятно, чтобы мудрость была всеобщей». Гете был далек от религии — никогда не понимал, чем Библия лучше других хороших книг. И был весьма циничен в своих отношениях с музой — «Стихи — это поцелуй, который даришь миру. Но от поцелуя дети не рождаются».

И при этом Гете был тем воплощением гармонии, о котором он написал книгу, прозорливо названную «Поэзия и правда». Гете — как раз такое уникальное сочетание земли и неба. Нас таким союзом осчастливил Пушкин. В звездные часы рождаются гении, в которых душа заключает перемирие с телом. В них не бывает уродливого преобладания одной из частей...

Гете стал символом Германии потому, что в его искусной и не без выгоды построенной жизни соединился трезвый дух этой бюргерской страны с ее насмешливой поэтичностью. Умение наслаждаться мещанским уютом и воспарять в высшие сферы, не замечая, «где начинается небо и где кончается ирония».

Гете, Германия, Европа. Они все похожи. Своей божественной разнообразностью. Как рукотворный амбар, прохладная библиотека, гулкий от простора музей или замшевый от старости собор.

Европа — школа человечества. Или, скорее, университет, в котором Германия занимает достойный, солидный факультет. Факультет прикладного жизневедения.

Нью-Йорк, 1984

Авторы просят передать
гонорар в Латвийский фонд культуры.



Татьяна Щербина

БАЛЛАДА О СОВКЕ

Я как грушу не трясу как прежде полку —
не читаю. Не пишу, смотрю на ужасы.
Колобки толпою катятся — от волка к волку,
здесь хорошего не будет, сколько ты ни мучайся.

Будут грабить убивать красные макаки,
запряженные ослы малость поупрямятся,
их на бойню повезут в повозке цвета хаки,
уж ослами-то макаки авось не подавятся.
Человек макак не ест, его песня спета,
он как Дон-Кихот кричал в тюрьмах ссылок снах.
а теперь он постарел, не поняв, что это
была битва с муляжом, песня для макак.

Забери Аллах их всех, дарвинских любимцев,
я прошу свободы от и таких стихов,
и от сеянья трудов на поле лихоимцев,
ядовитых их плодов в стане дураков,

где герой, мы знаем, кукла, супротив — титан-злодей,
Крон, богами не стесненный, поедающий детей.
Нам Сысоев нарисует не такой еще лубок,
улетает всяк упругий и прыгучий колобок.

Перепрыгивать заборы в лабиринте, делать дырки —
это был, наверно, высший пилотаж,
но магические стены пали — вот арена цирка,
говорим: давай валюту, лучший цирк, мол, в мире — наш.

Надсмехаться да плакать, сколько можно,
опускать глаза долу, глядеть мимо,
и со сталинским серпом — за таможно:
все картон, мол, авангард, пантомима.

Но живет в нас, как открыла наука,
идеальный Я в отдельной программе:
хоть вот ты колобок, а ноги-руки
и судьба твоя записаны в какой-то голограмме.
К идеальному в себе устремясь: прыг-скак,
спотыкаюсь о совок,
на который как в море волной
подметают поганой метлой.

22 марта 1989

СОВОК И СОВА философские стихи

Прощай, совок, и веник у совка,
березовый, российский, трехлитровый,
в нем донорская кровь — состав ЗК
ЦК ЧК ДК — какашка, словом.
Прощай же, ухаристая сова!
Сук, на котором и который рубят,
еще немного греет как дрова,
но как зола в совке — все чувства тупит.

март 1989



ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ О СОВКЕ

Совок домашний — уют всегдашний,
муку насыпать, полы подмести,
в песочек детям — купи за этим,
за всем за этим — слепая месть:
изготовитель — иди к ответу,
муки песочка квартиры нету,
с одним совочком иди по свету,
изготовитель — иди к ответу!

март 1989

* * *

Трудный выдался период, нервно-политический,
и какой ни сделай вывод, все он не практический,
все сиди в своем дому и труди себя саму
и нуди в дыму отечества: «отечество — в дыму».
Все же виден невольничий рынок, инвалютная паства,
паралитик-матрешка, недвижимость звездно-серпного царства,
инвалид-страстотерпец, просит долларов как лекарства,
надев как медали серфы, спецодежду как ясность:
это мы, не рабы, это мы, перестройка и гласность.
В аляповатых своих клубочках мы на полке пылали,
но теперь мы как сонм попугаев прем в чудные дали,
мы же больше ничем, мы же только собой обладали.
Окольцованной ножкой мы топнем, ведь мы не матрешки,
у нас ножка теперь появилась в ответ на галошки.
Хрен пошлешь ты кого на картошку, сбесившийся Ирод,
хоть в ней нет ничего, даже нас нет — Republica viva!
это вывод трудившихся в трудный и дымный период.
Гильотину строят здесь с вечными младенцами,
ты окошечко завесь крепче полотенцами.
Вот совет.

Как слушать эту близкозвучию
близкозвучию Завету?

Как евреи, значит, мы теперь — по свету.

4—5 апреля 1989

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Боре Юхананову

Стволы деревьев — стволы, дерево же — приклад,
паутина похожа на бинт, кровь — на йод,
черный паук — черный пупок —
выпустил скоко-то тысяч шасси, а ковшей — стократ,
собака лает, караван идет.
Пушки палят, музы молчат, живая собака лучше мертвого льва,
бессмертие — вклад в бизнес гиен и к народным забавам

приплод,

паутина — канва,
собака лает, караван идет.
Паутинка — косынка на голову, не платок носовой.
Кто, поплавав в бумажку, утешится, что попал в переплет?
Муза стала Сиреной, поднимающей вой,
собака лает, караван идет.
Бог не завязывает пупков и не завершает ход.
От сетей любви отделяя плод,
в сеть свою мы включаем его — в живот,
собака лает, караван идет.
Паутина — холст, на который наносят и нас. Когда
в моде художнички — это, гляди, беда,
подбирают в колер тебя и в стиль,
остается так мало прозрачных сил,
всюду фронт и нигде не тыл,
вот в пословицах только и ищешь тыла.
Паутина — мочалка, пучина мочила — не мыла,
мысль сбивается в пену, шерсть дыбом встает —
на кого лает собака, куда караван идет?

23 апреля 1989

Нож нож нож нож нож саперная лопатка
нож взрывчатка пулемет — это все не печатка.
Автоматная очередь за. Вы за кем? За кого? Чей приказ
яд газ яд газ яд газ
Ежовую рукавицу жмет террорная перчатка.
Это тоже не печатка, это тоже не символизм
вниз вниз вниз
Эксперимент удался. Они не сомненья — те что сейчас грызут:
вокруг геенна огненная и страшный-страшный суд.

5 мая 1989, День печати

На Западе живут простые люди,
им непонятен вот какой момент:
что Иоанна голову на блюде,
когда идет к концу эксперимент,
несут не потому что покаянье,
а для того чтоб публику собрать,
торжественное общее собрание
должно решить, как будет умирать.

5 мая 1989, День печати

* * *

Псу — предпочтение перед
л... Есть же чудо-звери,
те кто живут не в стае стаде,
а среди высших существ — не в ограде,
дома. Если бы л... жили у высших дома!
Л... — неприличное слово, в целом
л... неприличны, как части их тушек и сфер
сообщенья, когда звемизм Люцифер
облегчает их нервный пузырь.
Наливая почаше в него эликсир,
л... гудят и кучкуются — дефицит
собственной личности, чтобы тебя хотели
и не могли купить, а купили б,
так клали б в свою постель
высшие существа. Те же л...
Астронавты не прилетали.
Псу дорожке собственной жизни х...
высших смысл обретен им, а звезды в таком верхе,
что не увидеть слабым собачьим зрением
и не прочесть обращения к ним в стихе.

август 1989

* * *

Я ухожу в занавешенный угол, как предок к обедне,
дернуть эфир за волну, чей небесный гребень
прочесывает то, что я называю моим —
в одну конвульсию. Это и есть молебн.

Постоянный ток — иногда включающий руку в провод
и выдрагивающий стишок — что его коротит,
заставляя меня тук-тук вью-фью обуквивать телеграмму,
ожидая в награду как зверь за трюк — сахару — тазепаму.

Гуд в башке, спазм башенных перекрытий
и балюстрад,
будто землетрясение где-то там под настилом,
молниевый разряд.
Телепатия — не по силам,
но есть с кем встретиться, есть, хотя
только копия света рождает живость, синдром житья.

август 1989

БОРИС ЮХАНАНОВ

ПОЛНОЧНЫЙ МОНОЛОГ

Коли уж говорить о стихах Татьяны Шербины, то — надо заметить — недавно она обронила очень существенную фразу, что перестала оглядываться на эстраду и — даже точнее — стала адекватна собственной интимности. Это очень существенно. Потому что связано с «окончателностью». Это назревало на самом деле, и этому, в каком-то смысле как одному из самых существенных векторов, посвящен сборник «Ноль Ноль».

— Окончателности? — нет, приходу. Сборник фиксирует. Если взять этот вектор и посмотреть, что как бы там внутри совершилось, совершается? — переход, освобождение, уход с одной территории на другую, смена одного языка другим без перемены внешних особенностей. Все происходит там, внутри.

И для меня это связано со словом «жесткость», с чувством, что Татьяне нельзя уходить никуда. Она пребывает на той точке, она пребывает в том месте, с которого не надо уходить. Находясь на котором, нельзя меняться. Делать волевые, разумные, рациональные, даже — иррациональные усилия. Ни в какую из сторон. Надо оставаться, и это — самое сложное.

Когда я думал об этом векторе, взгляд упал на строчку:

Приятель мой, мутант неотверделый,
безумный мой собрат неукротимый...

и я это для себя однажды, когда что-то понял, назвал «великим противостоянием». Оно связано с тем, что такой огромный путь и такой напряженный в каждую секунду бытия проходит, что он равнозначен только пребываниям на земле людей, связанных с пророчествами, с Дельфами, Сивиллой. Это есть образ, на котором зиждилось начало. Но сам путь увел очень далеко.

Мы все время пользуемся прошлым. И Татьяна начинала с прошлого. Вся новость накапливалась постепенно, постепенно накопилась и оказалась в «Ноль Ноль». Основное событие связано с третьим тысячелетием, которое на нас надвигается, более того — мы избраны им, и кто слышит это избранничество, начинает меняться. А важно не то, что мы его слышим, а то, когда мы начали слышать. Потому что дальше путь страшно меняется, и любое происшествие в жизни начинает считываться органом — «приятелем моим, мутантом неотверделым». К кому здесь обра-

щение? Где это мутантство — вне ее или внутри нее? А может, она обращается к самому органу? А если представить, что все обращения при этом есть обращения, существа, которые находятся не вне, а внутри, — представляешь, как меняется система координат?

Однажды Татьяна обронила, что всех любит, а казалось бы, вот какая равнодушная. Значит, есть какой-то орган, где она всех накапливает. И накопление открывает ей бытие, совершенно иные отношения с любовью как сущностью, а — не как с фактурой, не как с композицией, не как с судьбой. Даже не как с судьбой. Поэтому сборник называется «Ноль Ноль».

Когда я подумал, что же это такое за третье тысячелетие, которое нам всем предстоит и которое заставляет человека уходить в... — тоже уход, но уход в будущее. И что это за такое противостояние? Я вдруг догадался, чем оно будет наполнено, это тысячелетие, и слово, которое мне пришло, связано только с одним — магия. А тот орган, которым будет владеть человек, — орган реальной магии. А теперь представим себе, что здесь, сейчас, в конце нашего тысячелетия, этим именно органом пишутся стихи. Именно этим органом отбираются строчки, именно этим органом отбираются слова.

Это — некоторая преамбула к тому, что я хочу сказать.

Я хотел бы взять одно стихотворение и внутри него существовать. В принципе можно взять любое. Ну вот, посвященное Саше Башлачеву:

Так было тошно, что я что могла, то ломала
и все было тошно, все мало
тут открылась калитка...

Истории сразу начинает сопутствовать третий человек. Поэтому так она рассказывается — «открылась калитка». Кем? Калитка — открылась. (В маленьких трагедиях Пушкина — вообще реквиемах как таковых, а этот жанр и есть это стихотворение — всегда присутствует чудо, и чудодейственное творится с автором. Например, Моцарт описывает это как чудо — «на третий день пришел», «и вдруг я стал писать», «мне было жаль расстаться» — Моцарту и вдруг жаль расстаться? — которому все время сопутствует некая сила. Откуда она идет? — изнутри.) Чудо произошло.

... и ты, принц-Улитка:

футболочка с Моцартом, два свитера, куртка, гитара... Человек описывается вещами — футболка, куртка, гитара, — но его самого нет. Со времен Барта, его «Третьего смысла» мы получили возможность заглядывать за коммуникативный язык и логику, получили возможность вглядываться во что-то, находящееся — там.

Мы выпили чаю на кухне, но все было мало, не отвести было глаз карих от серых и серых от карих...

Хочу обратить внимание на эту строчку — чьих глаз? Претензия оказывается достоинством, и логика совершенно ясная — «карих от серых». Тогда кому отвести? В этой строчке уже сидит, сидит третий. А в перечислении «серых от карих и карих от серых» набухает больше чем метафора. Потому что карих от серых — это еще глаза, а серых от карих — как минимум лошади. В яблоках.

Я люблю подмечать в Таниных стихах не строй их, такой плотный, ясный, очень очерченный, подверженный логике, отчетливый, но — совершенно эзотерический. Отчетливости обязательно должен сопутствовать контекст, который связан с разгадыванием. Но не разгадыванием, как у Мандельштама, связанным с культурой, реминисценциями, книгой. А разгадыванием, которое связано с возбуждением в себе этого Органа, того органа, вокруг которого и о котором мы говорим. Магического органа, которым мы мутурируем. И работа, которую эти стихи совершают с читающими их, — работа по выращиванию этого органа. Не в надежде на него (это — совершенно безнадежно), а именно — по выращиванию. Момент сделанности стихов так слышится в тоне, строе, в приметах, которыми населена сейчас культура, быт эстетического восприятия, — и все понятно. А с другой стороны, ничего непонятно, и не сочетание смыслов заставляет вникать, работать с ним. И тогда начинает вырастать орган.

... и телемостик меж ними прорезался в облаке хмари... Идет история медленного вызревания. А что вызревает? — я просто обращаю внимание...

... Третий на нем не умещался, но все было мало... — вот и черный человек появился, хотя сидел-то уж там давно.

... Мы очнулись опять на земле, где мой муж и твой поезд, — вот тоже отличное сопряжение — мужа с поездом, — объединились в границу, где кончается полис.

Возникла зона, вне и за которой начинается разрушение того, что называется жизнью —

Вологодское кружево не плетется из крошева скал, но коль скоро вернешься...

Начинается история пост, жизнь после (чаще всего это обозначает смерть). И возникает причитание — «мало». Как много здесь этих «мало», как **всего** мало. Причитание это абсолютно неизвестно поэту, потому что если бы он на секунду догадался разумом до того, что он делает, тут же все испортил бы. Потому что есть камень преткновения — естественность структуры. (Любая структура, ее искусственность, которая восхищала нас в поэзии, поэтике, культурологии, является приметой традиционного искусства.) Искусственной структуры у Тани как бы не существует. Вся работа направлена к тому, чтобы разломать все искусственные структуры, и остается нечто, что назовем «естественной» структурой. Хочется произносить слова, которых нет. Это — огромная, рабочая проблема человека, связанного со словом. Как находить слова, которых нет? Все «неологизмы» (не придуманные слова от сочетания двух слов или чего-то еще — слишком просто, Хлебников слишком прост) произносятся определенным органом, выделяются им.

... хоть этого мало,

я остальное когда-то уже поломала...

Магическое доверие и ожидание на территории уже сделанного стихотворения. Поскольку работа сделана на территории реальной магии, то естественность процесса как бы слита с самим произведением, «произведение таит процесс своего создания», остается реальный след живой работы при всей статике произведения.

«Поломала» — почему так много этого мало? Я задаю себе вопрос и понимаю, что «поломала» — слово, зазвучавшее обертонами, которых у него не может быть. «Поло-»-«мало» — слово начинается звучать, вбирая в себя текст и контекст.

... и ты, кроме двух, принц-Улитка, антеннок,

наверное, все поломал.

Поло-мал. Оказывается, что «мало», движущееся сквозь все стихотворение, — не просто центральная метафора, слово, которое ни с чем не сравнивается, никак ни с чем не со-работает, приобретает функцию еще не названную. Явственно, строго и естественно — не знакомо. Потому что тайна естественного — неизвестное. И не должное знать. Не интуицией и не подсознанием это сделано. Его нельзя никак и ничем объяснить, кроме того, что дается в первом стихотворении «О пределах», — «приятель мой, мутант неотверделый, безумный мой собрат неукротимый». Что такое «неукротимый»? Какого напряжения работа? Обращаясь туда и сюда, я начинаю чувствовать, как живет сборник. Почему «Ноль Ноль». Как он живет, посвящая, подтверждая, освещая, высветляя, затемняя, комментируя, и все — не те слова, слова старого ряда. И нужно добираться до слов, тратить энергетическую зону. Не только дозу этой зоны, а саму зону.

Поло-мал. А потом Саша Башлачев вылетает в окно. И история в стихотворении кончается именно этим. В этом смысле все и происходит. Что это — мистика? Почему — мало, мало, мало? Почему с этим связано поломала, поломал? Почему дальше — история оборачивается похоронами? Как это может произойти до, когда это произошло после? Не просто магия — **реальная магия**.

Как мы должны читать друг друга? Как на самом деле мы должны слышать судьбу друг друга? Как мы это и делаем, потому что ничего другого нам не осталось. О чем и написано это стихотворение. Получается сюжет, который я теперь и открою. Получается, что есть человек, которого нет, есть жизнь, которой нет. От всего человека остался один орган, которого нет. И от жизни осталось только то, чего нет. А уже есть.

«Мутант неотверделый» — не имидж, не личность — нечто. Это пребывание в ситуации, когда меня нет, но я есть, когда я весь наружу и весь вовнутрь, потому что это — фильм ужасов, который представляет наша культура. Только там, на этих напряжениях, все выворачивается наизнанку, мордами. Поэзия — ткань, среда, глаза и то нечто, где набухает все.

Эти стихи написаны после того, как слово умерло. Это ясно осознано автором. Эти стихи связаны с жизнью после смерти («но коль скоро вернешься»). Слово умереть не может — оно есть, и все. Умирает вначале человек — носитель этого слова, вернее смысла, потому что слово оживает вместе с новым смыслом. Для того, чтобы нашей культуре — и это очень существенно — обрести слово заново, носителям или творцам этой культуры нужно обрести новый смысл. И новый смысл не может быть обретен на территории смысла как такового, на территории бессмыслицы, на территории перебора, то есть болтологии. Все эти моменты новой культурой уже исчерпаны. Она уже пережила это веселое время. Вся она, так или иначе, что-то уничтожала — огромное молчание концептуализма, постконцептуальная болтология как средство против идеологии и уничтожение ее вместе со словом. Все это является сюжетом стихотворения. Это — не о художнике и не о любви. Встречаются два существа, прошедшие сквозь все. Это встречаются два человека, содержащие в себе новый смысл и возможность новых слов. (Вот сюжет — и в нем присутствует третий черный человек, и они встречаются, а правит балом «поломало».) Мы следим за историей, принявшей на себя даже не территорию, не пространство, не систему координат, а — новое тысячелетие. Мы следим за тем, что там происходит. То есть мы следим сами за собой...

(Расшифровка записи О. Хрустальной)

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ

* * *

Помнишь квартиру, в которой лягались квадраты,
И пирамиды мололись с щебетом и оркестром,
И внутренних рук прогибая звезды,
Сидела одна из тех, кто уже не с нами?
Маленький синий крест рисуя на ручке двери,
Солдат уходил на Север, кривя челюстную полость.
Дымы шевелились в воздухе лениво, как одеяла,
А мы в наносной квартире держались за полы стекол.

* * *

Каждую ночь я сажусь за стол
И хохочу при свете лампы.
Все это довольно безумно.
Ну, потом ложусь спать,
Если в доме нет ничего,
Что движется
Или
Излучает холод.

ПИСЬМО К БЕЛОМУ БОГУ

Мой белый бог
Страна страннее жути
и в комнатах как в поездах
трясутся вещи.
Падает вода.
Наш взгляд — не выстрел. Молча
мы снимаем одеяло с потолка,
его дырявим сигаретами.
Не лето больше.
Дальние разрывы цветов
цветов
не сотрясают кровлю.
Любовью невостробованной пахнет
предельный воздух. Сладко —
не встречаться. И мыши бегают
сквозь пальцы как туман.
Автомобили веры
ослеплены
стрекозами.
Шар жара охлажден.
Кресты весенние помечены слюной.
И оттиски перечислений
ржавеют
в керамической посуде.
Мой белый бог
Мой бог синее ртути
Потребности в вопросах возросли
и дети плачут искренне и жалко
а ты дорогу вышиваешь крестиком
на ткани прирученья
и починаешь музыку. Она —
одежда быстрых изменений
и женщины ее катают в пальцах,
в длинных, тонких пальцах, похожих на любовь.
Тепло равновелико. Лица
стиснуты ладонями, носы приплюснуты
к стеклу.
Сжигаем жимолость.
Колени, бритвы, газ. Нет ничего спокойнее,
чем весть. Чем дни прохладней,
тем они короче.

Мой белый бог,
ты умер или нет?



* * *

Ночные кошмары.
Шары.
Из свинца.
Их плавное скольжение к югу,
Где находятся оазис, библиотека,
Дом с прохладными затемненными комнатами,
Человек, говорящий на непонятном гортанном языке,
Женщина с лицом, образованным наложением двадцати
фотографий.

С глухим стуком
Шары
Переваливаются через линию горизонта,
А та вращается,
Как стеклянная дверь,
На которой написано:
«Ход».
Пугает прежде всего
Бесцельность
Всего, что происходит.

* * *

Ночью ничто похоже на что-то.
Рыбы тычутся в прутья и руки.
В переулках живут червяки и свечи
И кошки скребут когтями асфальт.
Ночью ничто похоже на где-то.
Кресты отделяются от колоколен.
Священники ртами хватают воздух,
Из-под сутаны зеленеет зрачок.
Ночью ничто — это полное нечто.
Луна лебедей ожидает павших.
Звук от звезды — синий кораблик,
Гроб, полный дыма, заносит в дом.
Струйка дождя по губам крадется,
И остается,
И достается
Каплей и сном.

* * *

Солнце встает по чуть-чуть.
Ангел, собравший ночные молитвы,
несет их, как старые книги.
Облако может лететь. Иногда —
против ветра. Но слепые всегда
насторожены. Лестницы, дни,
прикосновенья, года.
Бестелесная музыка возит нас по Европе,
как спящий шофер. Вальсы —
примерные птицы. Я думаю,
если стараюсь. Грущу.
От домов в это время исходят
столбы снов и тепла. Про себя
я давно повторяю слово «вода».
Кто он, кому это нужно?
Пускай выходит из темноты.

Маленькие черные жалобы
вырываются из трубы паровоза.

ЛЕНТА С ДЫРКАМИ, ДЛЯ ШАРМАНКИ



В первом-втором абзацах еще сохраняется тень, их еще захватывает своей тенью текст, который предполагался, без него, хорошо, обошлись. Там еще была узкая, ржавая железная дорога. Станный, вялый пригород. Насыпь, осень, косой свет, много разбитых окон. Собственно, все. Тем более врет название, которое, конечно, не с начала — где возникло, там бы его и печатать, выделяя шрифтом. Это — взялось где-то в районе Шульца, дальнейшего не зная. Шульц, шарманка, шаркать, шелестеть, улица, шар, мормышка, шепелявить, говорить нам не о чем, надо лишь знать когда говорить, а по поводу — все равно что купить текст в лавке: съесть его, выпить, штаны из него сшить.

У kota всегда есть хозяин, хоть его гладит вся семья. Но хозяин kota — это лишь человек, чьим хозяином является кот; с его шарами золотой и зрячей пыли. Как можно быть хозяином текста, нельзя владеть тем, чего нет, что к себе добавляет себя, перетекает, ёрзает внутри себя, зудит как бабочка, становящаяся буквой Ж.

Есть хозяева у городов: разговор, конечно, не о муниципалитете. Города изменяются, одно исчезает, другое появляется, но так — со сдвигом. В Риге над центральной улицей, между Мельничной и Столбовой, были, поперек движения, штук по пять-шесть в ряд на высоте проводов прицеплены синие люминесцентные звезды. Это было в начале семидесятых, с наступлением вечера звезды светились. Их не ремонтировали, их убывало: ветер, соскочившие штанги троллейбуса. Теперь, в августе восемьдесят девятого, их осталось штук двадцать, да и сохранившиеся целы не вполне. Кажется, они еще светятся. Их, тем не менее, уже не видят. Их уже нет лет пять.

И наоборот: многие деревянные дома в центре Риги, снесенные в пользу автостоянки, сквера, новой застройки, еще существуют. Это не память, так ведут себя не все снесенные дома. Но, например, вегетарианская столовая на углу Лачплеша и Тербатас. Несколько коричневых домов возле Новой Гертруды, возле остановки в сторону центра. Там был книжный, он стал пунктом приема макулатуры, и жилые дома — цыганские, по слухам; в окне второго этажа долгие годы выгорала, все более синяя, репродукция «Неизвестной» Красского, а рядом, в соседнем, на улицу глядел гипсовый, что ли, череп с мигающими в глазницах красной и зеленой лампочками.

Такие места уходят тяжелыми шагами: не вниз, не вверх, не растворяются, конечно, отходят куда-то в сторону: участок города может, исчезнув, остаться быть здесь же, чуть в другой плоскости, проходящей через их прежнее место и составляющей с плоскостью, где Волга впадает в Каспийское море, угол в градусов двадцать семь: плоскость то ли вверх — прочь, то ли все, что на ней, съезжает обратно на нас.

Вот Петровский парк — в городе теперешнем почти не существующий. А в конце пятидесятых он был чуть ли не

центром города — впрочем, центром временным, предновогодним (вряд ли уже рождественским, но возникала ясная связь с прочитанным в книжках: которые то ли есть такие, то ли померещилось — заснеженные добрые городки, немецкий, нежно-елочный уют. То есть зима, какой ее можно увидеть — потому что уменьшенную — через окно, за темной пустошью (двор, площадка, просто пустырь), освещенную вразбивку желтым светом — конечно из окна — потому что не холодно, потому что снег лишь как свет и скрип). В предновогоднюю неделю парк — он был такой довольно продолговатый, вытянутый в никуда, очень длинный, в бесконечность — узенький прямоугольник света, электрические лампочки горели здесь внахлест (а бесконечный потому, что дойти до его края не удавалось — по малолетству, видимо). Деревянные киоски-лавочки, с чем — уже не вспомнить, музыка из рупора, переносная фанера с овалами дырок, вписанными то ли в самолет, то ли в верблюда, елка, конечно, гирлянды, кумач «с новым тысяча девятьсот пятьдесят седьмым-восьмым-девятым!», прямоугольного пруда тогда не было, он был тогда нормальным, служил катком. Вся эта рождественская толчея начиналась от створа Триумфальных ворот, без которых, похоже, и состояться бы не могла.

Это боковое зрение предполагает мягкую, как мотылек, трепанацию черепа: голова с собой это делает сама: какой-то сегмент черепа: ломтик над виском по-обсерваторски отползает в сторону, сдвигается ко лбу, вперед, внутри. Голове становится дышать не то чтобы легче, дышит чем-то другим, почти эфиром; какие-то сумерки, какой-то аккордеон городского, парижского манера двадцатых годов — добиваясь, впрочем, лишь видеть отражение, перекошенный в углах отпечаток на гладком, какую-то косоугольную с гибкими прямыми картинку на гладком, громадном шаре; слова здесь плохо пригодны: то, что входит в щель над правым виском — все эти вещи, существования и существа громадные, слоноподобные, разовые и моментальные, круглые — слова рядом с ними малы, думают, что рядом с ними плоскость, соскальзывают — ухватившись друг за друга во фразу — к полюсам, стягиваясь, как резинка, в кашель. Слова нужны мельче — как свист, скрип, шелчок: не описывать, а прикоснуться, потереться, лизнуть, засвидетельствовать почтение. Не гласные не согласные, из трех-четырёх букв насекомого алфавита. Им надо угадать, нащупать, влезть в трещинку непредумышленного или наглядного излома, шарить в расщелинке, наугад, опасаясь ее сухого истощения: как муравьи — ища пройти насквозь. Они, то есть, должны быть вежливыми и нервными.

Парк же потом исчез, то есть стал быть в подробностях: аллея от триумфальных ворот, пруд переделанный из произвольной формы во влажный, протухающий к августу прямоугольный мемориал, пруд второй — тоже поросший рыской и утками, там ловят рыбу, которой там нет. Несколько тонких аллеек, немного — парк невелик — с одной

стороны корты, порт и трамвай с другой, хлебокомбинат с третьей, улица и дома с остальной. Теперь-то он из деталей, каждую можно использовать как угодно. От хлебокомбината пахнет и тем и другим: дрожжами и свежеспеченным хлебом.

А что де жизнь ушла, что де другая жизнь, то ведь если опять родился, то и немного умер накануне. Не сильно, не очень больно, отчасти — а то бы и не знал, что уже жил. Так, как в баню сходить. Но раз заново родился, то и видишь иначе: небольшая жизнь отвалилась, человека стало меньше, а, значит, все кругом заметно увеличилось. При этом, возможно, от человека отстегивается история. Она произошла с ним, но он уже ни при чем. История не хочет никого, лишь себя. Так вода в невесомости скручивается в шарик. Или лежит на вошенном листе чуть сплюснутая, линзой — если в ту упрется солнце, она сначала прожжет лист под собой, лишь потом испарится. Истории нельзя трогать. Когда история, то нельзя быть собой, а то она всосется, как в промокашку, и это все, что произойдет.

Район распадается с исчезновением хозяина. (Рассыпается, демонтируясь как облако по команде тому раствориться: (скомандовав, чувствуешь связь пупка с центром облака, с точкой, в которой собраны все его связи): эта точка разжимает все свои пальцы, молекулы еще вместе, но, выпав из инерции, начинают постепенно расставаться, облако состоит уже из сгустков — белесых, еще холодного цвета. Не отражая совместным белым солнечных лучей, они теплеют, скручиваются в воду; капли срываются вниз и, метров через сто падения, превращаются в воздух.)

Что сказать о вступлении хозяина в должность. Это сложнее, чем его смерть, это постепенно, они ведь не обязаны забирать себе все бесхозное, привередничают. Не сразу, не спеша, их немного, хватит на всех. Никакое строение, никакое дерево, никакой какой-нибудь киоск не станут городом, пока их не возьмет себе хозяин. А отдельные можно переносить куда угодно, их, на деле, нет вовсе — так в городе все еще не существует телебашня, выстроенная лет пять назад. Оставленные же хозяином хандрят, болеют. Их не любят, возле них тревожно, они дребезжат, дышат, следя за дыханием, их тожеством становится ржавый механический орел, они больны сныпняком.

Речь еще и форма самозащиты, не обсканное сохранение Möglichkeit чуда: смерть не наступает до слов о ее факте — слова же могут оказаться «встань и ходи». Кем себя назовешь, тем и будешь, а не назовешь — будешь молодец, если сможешь. Говорить, вообще, как закурить ночью на опушке под сенью снайперов на елях. Речь, потому, склонна устраивать так: руки в одном месте, спичка в другом, сигарета где-то еще, а прикуриваешь вообще за десять верст. Толку, понятно, никакого, хоть пробуй тебе пулей только коробок. Речь конкретная, но осторожная — в промежутке между «ля-ля» и «как бы». Лялякающий рискнул на высказывание, его не продырявил, потому что его нет вовсе. Говорящий способом «как бы», тот весь на той опушке, но как бы прикурив. «Как бы» — предохранители, спасающие — перегорев — говорившего в случае чрезмерно крутого тока. Способ, впрочем, позволяет оценить снизу напряжение, вышибающее пробки.

Промежуток между ляля и как бы и предполагает стрелков на елках: говорящие знают, что знают не всё. Это вера в черное чудо, чудо обратного знака: непредусмотренное — растопчет. Хотя растаптывает вовсе не оно, но то, что вызывается прямой речью: в отсутствие «как бы» и прочих окопчиков и уловов с ним остаешься один на один.

Все, в сущности, выворачивается вопросом: так как всё происходит, само-собой или нет? Не само-собой — это вполне конкретно, зато недемократично. Само-собой — тогда миллион вариантов как именно. По отношению к хозяевам города это может быть, например, вполне безмозглая самоорганизация, общее неясное голосование, слабым и невнятным перевесом обеспечивающее так назыв. «стечение обстоятельств», недогляд и опять где-то что-то почему-то сгорело, а через дорогу газетный киоск покрасили в малиновый цвет. Идя же на легкий компромисс с «не само-собой», получим вот что: из всего населения, как заложники, выбирают, скажем, каждый девятьсот сорок седьмой, и город следует случайным приходам этих случайных людей. Таких — попавших в эту переделку как на порку — тут окажется около тысячи, у них все валится из рук, силы уходят на содержание города — на работу, о которой они и понятия не имеют, не объяснили им.

Или, все еще более за невменяемую организацию, свалим все на тех, которые все время попадают на глаза:

на седую лохматую старуху, щуплую, в короткой серой юбке; на одноногого старика с окладистой черной бородой, в берете; на дурня средних лет, тот одевается как ковбой: самодельное сомbrero, с драконами и змеями бочка, штаны в бахромой, пришитой к наружным швам и низкам. Им, вроде, и дел других нет, болтаются только на остановках. Никого они там не ждут, они не сплошь алкоголики, они вовсе не неадекватны. Неадекватные, те другие. Теперь их реже увидишь, а раньше у каждой, наверное, школы был свой олигофрен, простаивал толстый, бескостый зачем-то возле дверей или катался в троллейбусе — туда-сюда, бесконечно, сидя один на двойном сидении — в любую давку к нему не подсаживались, впрочем, из-за его толщины там и места не было, смотрел в окно, прищмыкивал влажным ртом, засыпал. Теперь их реже увидишь, впрочем, они появляются на улицах в сумерки — конечно, в летние. Олигофрены, алкоголики — такие, что уже и пить не могут, кататоники, старики, больные старостью. В сумерки они выходят на улицы, сидят на ступеньках, на каких-то приступочках, все это почти в центре, где нет почти машин и с клумбы пахнет бархатцами. Они сопровождают собой сумерки, они как-то общаются друг с другом, ощущают, наверное, что-то общее, приходят в возбуждение, если почувствуют грозу или под полной луной или когда этот толчок когда лето становится осенью: к их лицам приливает кровь, они дергают руками; обычно же их лица расслаблены, и глаза тоже, они погружены во что-то, кажется, липкое: им, похоже, не плохо. Они даже не курят, то ли не умеют прикурить, то ли им ничего не надо. Изредка из них выскакивает обрывок отчасти связной речи.

Они в себе не знают слушать причины пульса вне себя, беспокойства всегда смутны, случайны, тычущиеся; они бы шлепали губами внутри себя, уходя, уменьшаясь, сворачиваясь, сжимаясь, если бы не пайка — кто их кормит, могут ли они обходиться с деньгами, умеют ли купить тарелку еды? Они не вычищают грязь из-под ногтей, моются ли они сами? Пайка выпадает им сама-собой, им не надо выдавливать ее из стенок системы всеми положенными на этот день силами: но ведь и мы тоже не заботимся о хлебе насущном, в этой стране уже нет забот, лишь постоянное надавливание — в такт дыханию — на стенки, тереть палочки одну об другую, гнуть-разгибать проволоку — наконец система довольна, она получила от тебя все тепло, на которое ты был способен сегодня, из ее стены, как соиска из целлофана — если давить с другого конца — выпадает оловянная пайка, тускло звякнув в алюминиевую миску. Здесь добывают воздух не только ртом, но всем телом, это тяжелая и мощная свобода, здесь нет обязанностей — только лишь ножками-ручками почивирять, чтобы выпала пайка, это тяжелая свобода, ее не отнять — не поднять, не унести. Это страна бесконечного множества храмов: мы сходимся ко вкушению пайки в пельменных — вот олигофрен, всасывающий в себя пельмени, брызгаясь белой влагой, вот пьянчужки в углу, вот дама, зашедшая сюда перед концертом — здесь почти напротив Зал камерной музыки, вот — азиаты с торбами, вот — пионеры на экскурсии, вот — художник Жэ Ши. Очередь поедает пельмени быстрее, чем те успевают свариться — приходится ждать, как в зеркало глядеть в плоские глаза разрезанного поперек яйца в майонезе, понимая, что, чем ближе к зиме, тем пельменные станут пещерами, единственно освещенными в городе: единственно приобщающими нас к трансценденту, где, среди черной влажной зимней грязи на кафельном полу, сидят Олигофрен, Алкоголик, Дама, Азиат, Старшина, Интеллигент, Начальник, Блядь, Космонавт, Шевчук, Военный Служащий, Му, Зимнее Солнцестояние, Мотылек, Смерть От Удушья, Половой Орган, Пир, Мне Не Нравится Жизнь, Южный Крест, Государственный Гимн и, просветленные империей, как рентгеном, поедают, жмурясь, теплую благодать, хлеблют ложками ртуть.

Статистика опишет ход времени обратно, сведет его к чему-то, возникшему когда-то; ей надо знать что, где и кто, она скажет что с того. Самоорганизация, та тоже — потом: все всегда мгновенно (вспышка справа, вспышка слева), успеет только вздрогнуть, ухватить — когда тут советовать? все после, потом; пойманное тормозится, как капля воды, угодившая в вершину пирамидки из муки тонкого помола: так внутри поэзии вдруг натягиваются, напрягаются одни предметы и обвисают, как продырявленные, другие. Теперь такой предмет — лезвие безопаски, потерявшее положенное ему качество: им давно не бреются, оно летает как хочет, бритва теперь царица подкорки, именно

эта — безопасная в фас, ее не видно в профиль, она двуклика, ее можно лизнуть и приклеить на письмо, как марку, ею нельзя провести прямую — разрез вибрирует в надавливающих пальцах, волнясь в согласии с пульсом; она обещает разрез, развал пространства как распахнутые почему-то ворота ночной фабрики. Она теперь повсюду, внутри любого предмета и, купив гранат, следует быть осторожным, разломишь его — внутри лезвие, несколько зернышек светятся в его прорези. Составляющее нас вещество содержится в себе внятный, сегодняшний код: вытаскивая его нам в руки, как если бы перенасыщенный, восьмерной кофе выдавливал бы наверх шершавые кубы, конусы и, изредка, нежные жемчужные бусины.

Хозяева бьются мордой об лед, как рыба — сумасшедшая — снизу. Их профессия покрывает любую религию как ночь — пикового туза. Она не навек, она избыточна для прокурора. Что поделаешь, в этой стране не умеют жить — как, скажем, человек не умеет кататься на коньках. Как женщины просят соседа починить пробки. Тут не умеют жить — здесь ждут. Даже хорошего тела себе, в ожидании заплыва салом.

Профессиональный хозяин, видимо, уже не человек, он ничего не ждет, лишь реагирует. Если увидеть их всех сразу, у них будет совпадать походка, они будут одинаково покачиваться при ходьбе, одинаково нести голову. Их видно всегда в три четверти сзади: они всегда уже только что прошли мимо. Они ничего не планируют, с ними все уже произошло, они говорят безличными предложениями. Сумерки. Происходит то-то и то-то. Надо посмотреть. Завтра будет дождь. Говорить с ними бессмысленно, встречаться — даже опасно: как если бы по городу ходили хирурги с полным набором своего инструмента, и операционный стол, и наркоз, и многоглазая лампа: что за радость оказаться вдруг на операционном столе, тем более — на перекрестке — антисептики, наконец, никакой, и голый, и зеваки — а им что? — посмотрят, починят и никакого душевного участия. Им интересны только свои и те, кого они могут сделать своими; они и с женщинами спят только с такими же. Что поделать, издержки профессии.

Они, все же, частично за льдом, тот режет их пополам, как рыбу по боковой линии. Работая хозяевами, они здесь не служат — тогда бы были дворниками, подкармливающими город песком, пшеникой, изюмом. Они бы стояли с метлами на перекрестках. Они бы работали в ветлечебницах, они полировали бы рельсы. Они не уходят, они уже ушли. Они видны лишь со спины, они что-то вроде обратной стороны Иисуса — разрезанным вдоль пополам, плоско-приклеенным к дереву креста.

Вот Бруно Шульц. Начнем это так: июльский полдень, тридцать пять градусов пекла, на углу встретились трое господ, одетых не по-господски, а по-летнему. Один из них коротко стрижен, другой — кошка, третий же сам Бруно Шульц, стоящий здесь — иногородний, все же — в качестве не то гостя (какие среди них гости), но отчасти собеседником, возможно — экспертом; все трое несколько вяляют ваньку — стояние разыгрывается не страстным, мистическим образом на барочный манер, но во вполне галантном сецессионном варианте, в котором у Бруно голос в этой компании (гость все же) не решающий, совещательный (но на углу ведь не собрание, а просто стоят трое, так что поражение в правах фиктивно). Приподнимают котелки, раскланиваются. Шульц (1892—1942, жил в гор. Дрогобыч, еврей, прозаик, писал по-польски, книги «Санаторий под клепсидрой», «Лавки пряностей» («Sklepy supatopowe»)) в тот июль поселился у меня, а его печатал — в августовском номере. Он вычитал верстку, дальше не поехал, остался, жил странно: вставал чуть свет, уходил в город, возвращаясь будил меня — я уходил на работу, он — ложился снова спать. Просыпался, снова уходил в город — в самую духоту, часов в четыре-пять дня, что-то там делал, с кем-то встречался (видимо, его совещательный — если уж и в самом деле — голос стоил, как эксперта, десятка решающих), возвращался к десяти-одиннадцати, приносил сливы — тогда как раз продавали сливы — не плотные сизо-фиолетовые, а светлые, сладкие, расплывающиеся соком. Сидел, что-то писал, разговаривал.

Говорил он несколько в нос, отрывочно, записать его было не на чем, да и бестолку — большую часть его речи составляла жестикуляция, видимо, на фарси. Польский я знаю плохо, кое-что удавалось подсмотреть в словаре, кое-что оказывалось понятным и так — благодаря всем

этим арабским телодвижениям. Вот рассуждение о городском барокко.

В августе ноздри способны заменить остальные органы чувств. Для понимания пространства тогда довольно и запахов: вырвавшихся, просохших за лето. Их чувствуешь даже кожей — та от тепла раскрылась, загорела, отшелушила незрячий зимний слой. В августе телом увидишь и вспышку — если случится вспышка — и полную луну — если не поленишься выйти ночью из дома. А запахи тени, дров — этих полениц во дворах центра города, их трудно заставить себя не увидеть. Запах холодного железа из подворотен — там куски рельс согнуты в дуги и установлены в нижних углах подворотен, чтобы машины не скребли стены; невысоких чугунных оград вокруг газонов во дворах: они по кругу заставлены поленицами, но муравьиный запах железа все же пробивается в просветы между поленьями. А также конкретный запах сырости подвалов. Барокко в августе — считал он — не требует даже посещения рынка, довольно и запахов — разбухающих, повторяющих очертания самих предметов, то есть — совершив обратное действие — от запаха можно вернуться к предмету, его ощущать — вечер, сумерки, желание; потом — что-то о разноцветном воздухе, покидающем различные духовые инструменты, музыка с участием меда, какая-то — не понял слова — паутина, летняя электрическая проголодь: что-то о лампочках, которые наливаются током как соком, о том, что для вещей, предметов августом является февраль, предметы тогда созревают, по-разному пахнут все книги и комнаты, к марту они устают, начинают жухнуть, убывать: два типа жизни все время идут друг навстречу другу, встречаясь в точках весеннего и осеннего равноденствий, находя компромисс осенью в маринадах, соленьях, компотах, а весной — в разнообразных планах на лето, в исписанной за зиму бумаге и заработанных деньгах; как синус и косинус или два пульса существа с двумя сердцами.

Абсурдное само по себе рассуждение о хозяевах-хозяевах и хозяевах-гостях становится наглядно абсурдным в применении к Шульцу. «Разве под столом, разделяющим нас, все мы не держимся за руки?» — написал тот однажды. Конечно, он был тут хозяином, как хозяином в любую квартиру зайдет что-то подправить в проводке электрик: хозяином тамошнего электричества. Но этот пример и вовсе уже нелеп, Шульц ведь оттуда, где происходят очень серьезные вещи, где — если точнее — они и происходят, пусть осуществляемое им там и покажется здесь вариантом локального хозяйничанья сантехника или телемастера.

Трудно сказать, что изменится в городе после Шульца, что тот в городе изменил. Ведь факт пусть даже слона на площади в центре города или воздушного шара над крышами куда больше, чем сами шар и слон. Слабым следствием Бруно оказывается устранение последней метафизики: нет над городом его идеальной двойника, матрицы. Откуда бы последней знать, что явится Шульц и что-то в ней изменит? Пхе, да знай город заранее что и как будет, он был бы давно Амстердамом. Вот точная формулировка: если есть матрица, то знала ли та о грядущем появлении Шульца, который отчасти изменит город? Если нет — она слаба и если и существует, то как вымысел и сувенир, почти значок — иначе бы она не допустила бы выхода на меня сразу трех (!) переводчиков Шульца в одно, практически, время (а до мая 1989 года я и понятия не имел о его существовании). Если же знала, то она знает обо всем: тогда все мы существуем уже лет восемьсот, проскучили в морозилке и лишь теперь оттаяли; остается только почесать в затылке, рассудив, что матрице ведомо и то даже, что Шульц любил выщелкивать сливовые косточки в сторону трамвайных путей, стараясь угодить по рельсу — упряжняясь в том с таким энтузиазмом, словно именно для этого сказы и покупал.

Его пристрастие к запахам, к чистым веществам можно, впрочем, совместить — говоря о его влиянии на город — с — говоря на политическом жаргоне — убийством тоталитаризма: там ведь все как винегрет, всё перемешано, всем управляет количество тотально распространенной массы; мир же в его представлении существует как рост отдельных — связанных, конечно, руками под столом — сгустков, отдельных в спектральной чистоте своего вещества, притом рост осознанный: по Шульцу выходило, что яблоко не было бы яблоком, не осознавая что оно такое, что относилось и ко всякой вещи, вот, разве, пластмассу, видимо справедливо, он считал безмозглой. Здесь, впрочем, вопрос личных, пусть и разделяемых пристрастий: он недоверчиво относился даже к электричеству, полагая наличие известного сознания в лампочках, но никак, скажем, в

спиралях электроплиток — что ему эти электроплитки? Впрочем, живые, даже одушевленные существа не были для него заведомо умны и точны собой — с каким, поэтому отмечу, уважением он относился к припрыгивающему на трех с половиной лапах Станиславу, либо к заходившей ко мне коллеге, даже порывался ту зарисовать, но она, принадлежа к иезуитам, отказала. Впрочем, Бруно всегда любил котов и женщин, а я — пристрастен.

Здесь возможен естественный термин: крепость происходящего (да, просто в алкогольных градусах). Эмоции, скажу сразу, тут ни при чем. Вот бытовая жизнь в этой стране имеет крепость 9—12°, участвуя в игре, достигнешь 13—15°, драка с риском для жизни даст 25—30°, непятиминутная эротика — около 40—50°, участие в артефактах, тем более их устроение, также позволяет выйти за границу пятидесяти градусов (при этом идеальные 100° интуитивно ощутимы почти всегда). Эмоции же крепости не прибавляют, только запах: истерика оставит нас при тех же одиннадцати, но пахнущих сероводородом, Weltschmerz — двенадцать с запахом гноя. Чистые вещества и спектрально конкретные люди возможны при их крепости, превышающей крепость сна. По мнению Шульца, крепость яблока выше крепости сна, но ниже градуса сочинительства.

Для меня в городе после Шульца появились птицы разнообразных пород, без названий. Отличаются величиной, по преимуществу — черно-белые: черные в сложном состоянии, белые в полете, глядя снизу, с цветными клювами; птицы с двумя парами крыльев, птичка чуть поболее воробья, в миниатюре повторяющая двуглавого имперского орла, оставляет за собой, пролетев над головой, слабый запах корицы. Еще такие странные, согбенные — похожие на бумеранги, как летают? крутятся по небу, как конькобежцы. Сами по себе они значат мало, они — только метки, выступившие на поверхности; питаются они Святым Духом и не гадят.

Здесь кончается компетенция заголовка.

Есть место на земле, где в согласии живут все противоречия, где живет все, чего даже нет; что угодно, исключение существование друг друга. Это, конечно, мозг. Странно, как мы умудряемся думать о чем-то вне нас, не думая о том, как он сам отнесется к этому? Разницы нет, сам он по себе или нет, приемник он, сустав или начальник. Как мы можем рассуждать, допустим, о том, хороши ли вот этот дом, когда — применяя к нему свою приязнь либо отвергая постройку за вычурностью — не знаем, как строительство помещается внутри нас, в каком виде содержится там его этаж и окна, как относятся ко всему этому все те, кто обеспечивает нам мнение?

Вот голубой в сиреневых прожилках, похожий на каплю таламуса (конечно, цвета и формы из медицинского атласа), вот голубой просторный гипоталамус — регулирующий, по слухам, аппетит: когда человек стареет, гипоталамус разрыхляется, теряет хватку, перестает сечь поляну, не успевает вовремя сообщить о достигнутом насыщении, человек, поэтому, в старости часто полнеет; гипофиз, нейроны с их аксонами, митохондриями, синаптическими пузырьками, эндоплазматическими ретикулами — гладкими и шероховатыми — нам излишне знать, как обходиться с ними, они знают, что делать с нами. У них полно забот обеспечивать весь этот проходной двор тела и головы, реагировать на все, заставлять рот говорить, глаза смотреть — что, например, удивляется в мозгу, кто, что заставляет — ощутив необходимость удивиться — соответствующим образом напрячь соответствующие лицевые мышцы? Гнать кровь к лицу, гнать ее по кругу, отбиваться от проникшей в ту заразы, предоставляя нам, гулякам праздным, не зная труда в своем теле, не гнать кровь по трубочкам, не вспоминать — перебирая картотеку, не выдумывать каждый раз буквы заново, не расщеплять и переваривать пищу — они работают, они ничего не просят взамен, они, ей-богу, святые.

И все их имена: таламус, гипофиз, нейрон — странно представить их нареченными по-русски, мозг — за исключением, разве, обрусевшего мозжечка — для нас за граница, мы не знаем ни флага ее, ни языка; с ним, впрочем, и говорить бессмысленно — начнешь, а он уже знает вторую половину фразы, мозг болтает сам с собой о себе, речь зашкаливает, сплошное эхо, причина речи шаровой молнией мечется в пустой комнате, вместо обоев оклеенной зеркалами.

Он даже не за граница, а пятая стихия, обжитая как все предыдущие (в земле живут кроты, черви и т. д., в воздухе птицы, ангелы и т. п., в воде рыбы, крабы, крокодилы, в огне — саламандра и — иногда, заходя переодеться в чистое — феникс). А со стихией, конечно, не поговоришь: что там, да как и почему, что там, среди всей этой влажной и разноцветной латыни делают эти основные товарищи, разгуливая и снабжая нас советами, живя там решительно невообразимой жизнью и сплевывая сливовые косточки на трамвайные рельсы. Там, надо полагать, всё похоже, они почти такие же, только покруче и спокойнее, вежливые, носят стилистически выдержанные одежды из пурпурного виссона, выбеленного льна, кисеи — и никакой синтетики и анилиновых красителей. А так всё там точно так же — вода та же, земля, города, улицы — частью знакомые, но и выйдя из вполне обжитого района можно — разбираясь в незнакомых ландшафтах — наткнуться на засыпанную стеклами узкоколейку, виденную прошедшей ночью, или, того лучше, обнаружить себя, бог весть где проплутав, возле дома, в котором, собственно, и прописан.

Мозг, конечно, один на всех. Он продолжает строиться. Его жителей прибывает, они приходят со своими инструментами и материалами, мозг возводится как Вавилонская башня — кажется, этот вариант не подлежит разрушению. Они приходят, каждый с чем-то своим, возвращаясь как путешественники из заморских странствий, отдают свои трофеи и дары — дар теряет своего владельца, он даже не принесен вот только что, а был уже всегда: остается лишь пришедший — уже и не важно с чем он пришел — остаются, все такие разные, хорошие, злые. Строят, живут, курят, а то соберутся и спирту выпьют, затеят учить говорить попугая.

А под землей там еще что-то, гудит: там высоченное помещение, потолка не увидишь, и разные агрегаты. Какие-то древние, поросшие ржой механизмы, застопорившиеся, намуцаешься, пока запустишь — надо вычистить весь песок из шестерен, поддеть рычагом, приспособить шкив к ветряку или движку на солярке. Механизм — иначе не назвать, что он такое? — душераздирающе скрипит, буксует, начинает входить во вкус, намереваясь осуществлять что-то, что входит в его обязанности и что может быть чем угодно (так же точно, как возникли они здесь: от предположения, что и теперь может быть хороший писатель, работающий на мертвом языке, например на латыни: язык тут же требует себе на нем жившее — римляне оживают, низкорослая, ниже травы оловянная конница, риторы, бронзовые орлы на верхушках булавок, империя вновь возникает, намереваясь покорить, по крайней мере, весь письменный стол). Механизм входит в раж, что он такое — неизвестно, неизвестно, как его остановить, дай бог, чтобы оказался механизмом девиации или различения руд под землей, ну или какой-нибудь древней хандры. Так и не понятый, трогается с места и отъезжает на соседнее поле, его громохание смешивается с гудением уже гудящих там: трактор, сенокосилка, фрезерный станок, буровая установка, фотоувеличитель — гудят равномерно, не мешают. Всё спокойно, группа товарищей всё сидит за столом, разговаривает впереглядку, продолжает школить попугая, машут нам ручкой. Можжечок и команда пашут не разгибаясь, всё уравнивается, устанавливается, в Багдаде все спокойно, спите, добрые люди, спят козлята, спят мышата, мне не спится, нет огня.

Лежишь, громадный, тяжелый, равномерно громадный, свинцовый. Голем, глухой. Потом, после, не сказать через сколько лет покоя кто-то проводит по лбу гибкой бритвочкой — легко, тонкую бороздку на лбу: бритвочка виляет, спотыкается, уязает в сале свинца, его края — если кто взглянет со стороны — рваные, блестят, не успев еще окислиться. Не важно, что лезвием, можно стеклышкой, травой, даже странией. На теле, лбу возникает какая-то его привязанность, как прививка от оспы — сделавшая свое, оставившая после себя лишь метку — кто-то, значит, сделал с тобой неважно что; боль становится ранкой, сжимается, уходит внутрь, тонет в свинце, шрам на его коже разглаживается. Потом это повторится, все время повторяется — заметить это трудно, так горящую спичку в солнечный день увидишь только на ожог. И только немного пыльной, высохшей крови на месте надреза.

РОДНИК РОДНИК РОДНИК

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1989 ГОД

ЛИТЕРАТУРА

М. Агеев. «Роман с кокаином». №№ 6—11.
Аманда Айзпуриете. Стихи. № 12.
Владимир Алексеев (Ленинград). «Один день за границей». Рассказ. № 6.
Геннадий Айги. Стихи. Предисловие А. Хузангая. № 4.
Владимир Аристов (Москва). Стихи. № 3.
Анна Ахматова. Прозаические заметки. Предисловие Р. Тименчика. № 5.
Аркадий Бартов (Ленинград). «В гостях у литераторов». № 5.
Исаак Башевис-Зингер (США). «Маленькие сапожники». № 11.
Александр Беляев (Москва). Стихи. № 5.
Улдис Берзиньш (Латвия). Стихи. № 8.
Хорхе Луис Борхес. «Deutsches Requiem». «Секта тридцати». Пер. Б. Дубина. № 4.
Леонид Брейкш (Латвия). «Об Отечестве и его защитниках». № 6.
Жак Брель. Стихи. Пер. В. Пьянкова. № 9.
Геннадий Брониславский (Ленинград). «ЖЗЛ». № 4.
Петерис Бруверис (Латвия). Стихи. № 4.
Константин Вагинов. Стихи. Предисловие Т. Никольской. № 6.
Айя Валодзе (Латвия). Стихи. № 12.
Дмитрий Волчек (Ленинград). «Загадочный господин Агеев». № 11.
Владимир Высоцкий. Стихи. № 6.
Гайто Газданов. «Счастье». Предисловие Ф. Хадоновой. № 2.
Георг Гейм. Стихи. № 6.
Эргали Гер (Вильнюс). «Электрическая Лиза». Рассказ. № 9.
Лидия Гинзбург. «Из записей 1950—1980-х годов». № 1.
Григорий Гондельман (Рига). Стихи. № 1.
Лев Гудков, Борис Дубин. «Параллельные литературы». № 12. *Воспоминания*
Юлий Даниэль. Стихи. № 6.
Олег Дарк (Москва). «Из записок новорожденного». Рассказ. № 9.
Дэвид Джоунз. «Поэзия в театре». Пер. Г. Гондельмана. № 10.

Борис Дышленко (Ленинград). Из цикла «Жернов и общественные процессы». № 1.
Валерий Замкин (Москва). «Тополиный пух». Рассказ. № 4.
Маргерс Зариньш (Латвия). «Политически незрелый сон». № 8.
Евгений Звягин (Ленинград). «Психосветовое воздействие эрмитажных дворов». Рассказ. № 2.
Петерис Зирнитис (Латвия). Стихи. № 11.
Петр Злыгостев (Вятка). «Вагонаак». Рассказ. № 3.
Олег Золотов (Рига). Стихи № 4. «Послание». № 9.
Алексей Ивлев (Рига). «Стихи». № 9.
Анатолий Имерманис (Латвия). Стихи. № 7.
Викторс Ивбулис (Латвия). «Постструктурализм — что это?». № 1.
Янис Какулис (Латвия). Стихи. № 1.
Виталий Кальпиди (Пермь). Стихи. № 8.
Юлия Кисина (Киев). Стихи. № 8.
Игорь Клевх (Львов). «Введение в галицийский контекст». Рассказы. № 8.
Айварс Клявис (Латвия). «Утро». Рассказ. № 1.
Григорий Комский (Львов). «Дом». Рассказ. О графике Б. Шульца. № 8.
Жак Кокто. Стихи. № 12.
Николай Кононов (Ленинград). Стихи. № 5.
Монта Крома (Латвия). Стихи. № 7.
Роберт Крили (США). Стихи. Пер. А. Драгомощенко. № 12.
Юрис Кронбергс (Швеция). Стихи. № 2.
Михаил Кузмин. Стихи. Предисловие Р. Тименчика. № 1.
Олег Кулаков. Миниатюры. № 4.
Славик Курицын (Свердловск). Проза. № 12.
Илья Кутик (Москва). Стихи. № 8.
Елизавета Куцыня. «... ун неаткаригу!». № 10.
Владимир Кучерявкин (Ленинград). Стихи. № 11.
Андрей Левкин (Рига). Проза. № 12.
Ян Ленчо (Чехословакия). Рассказы. № 3.

Стефан Малларме. «Полдень фавна». Пер. Т. Щербины. № 4.
Лиените Медне, Владис Спаре, Юрис Звиргздиньш (Рига). «Ода комарам». Роман. Пер. А. Левкина. №№ 3—7.
Янис Мисиньш. Фрагменты воспоминаний. № 3.
Мара Мисиня (Латвия). Стихи. № 5.
Леонид Могилев (Эстония). «Смерть кота Коровьева». Рассказ. № 5.
Татьяна Москвина (Ленинград). Стихи. № 11.
Сергей Морейно (Рига). Стихи. № 5.
Лалита Муйжниене (США). Хроника. Введение М. Бирзе. № 2.
Ольга Николаева (Рига). Стихи. № 3.
Юрий Одарченко. Стихи. Предисловие Д. Волчека. № 11.
Одно стихотворение: Эгилс Плаудис. № 3.
Юрис Куннос. № 4. Оярс Вацетис. № 5.
Янис Рокпелнис. № 6. Леонс Бриедис. № 10. Эрикс Адамсонс. № 11. Велга Криле. № 12.
Айварс Озолиньш (Латвия). «Граненый стол». № 7.
Евгения Ошуркова (Рига). Стихи. № 10.
Юрий Панченко (Вятка). «Евангелие от Виктора». Рассказ. № 5.
Иозеф Петерка (Чехословакия). Стихи. Пер. А. Прокопьева. № 5.
Игорь Померанцев (Лондон). «Возлюбленный». Рассказ. № 5.
Петр Потемкин. Стихи. Предисловие Р. Тименчика. № 7.
Алексей Прокопьев. «Поэзия немецкого экспрессионизма». № 6.
Янис Рокпелнис (Латвия). Стихи. № 9.
Банюта Рубес (Канада). «Танго Лугано». Пьеса. Пер. А. Скоровой. №№ 2—3.
Лев Рубинштейн (Москва). «На этот раз». № 10.
Гунарс Салиньш (США). «Смысл и бессмыслица в новой латышской поэзии». Послесловие Г. Гондельмана. № 2. Стихи. № 10.

Генрих Салгир (Москва). Опусы. № 9. Современная поэзия Израиля. Пер. И. Ермакова. № 5.

Владимир Сорокин (Москва). «Открытие сезона», «Кисет». Рассказы. № 11.

Наталья Стрижевская (Москва). Стихи. № 1.

Айварс Тарвидс (Латвия). «Ветераны». Рассказ. № 1. «Нарушитель границы». Роман. Пер. А. Скорой. №№ 8—12.

Андрей Тарковский. «Гофманиана». № 7.

Линардс Таунс (Латвия). Стихи. № 8.

Владимир Тепляков (Рига). Стихи. № 11.

Сергей Тимофеев (Рига). Стихи. № 12.

Георг Тракль. Стихи. № 6.

Владимир Френкель (Израиль). Стихи. Предисловие А. Ивлева. № 2.

Лин Хеджиян (США). Стихи. Пер. А. Драгомощенко. № 1.

Александр Чак. Стихи. Предисловие А. Левкина. № 10.

Дора Цервидзон, Лев Брайман (Рига). «Мазурка» Шопена». Рассказ. № 11.

Марис Чаклайс (Латвия). Стихи. № 4.

Александр Шабанов (Рига). «Земляки». Рассказ. № 4.

Бруно Шульц. Из книги «Лавки пряностей». № 8.

Алексей Щеголев (Ленинград). «Как я провел лето». № 10.

Татьяна Щербина (Москва). Стихи. № 12.

Томас Стернс Элиот. Стихи. Предисловие Г. Гондельмана. № 10.

Клавс Элсбергс (Латвия). Стихотворение. «Приключение на острове». Рассказ. № 4.

Борис Юхананов (Москва). Проза. № 12.

КУЛЬТУРА

Никита Алексеев. «Посередине восьмидесятых». № 12.

«Архитектура как способ общения». Подгот. Модрице Лусе. № 2.

Айна Балгалвис. Фотографии. № 2.

Янис Балтаусс. «Свой среди чужих, чужой среди своих». № 3.

Петерис Банковскис, Агрис Балодис. «Чем больше меня бранят советские учреждения...». № 11.

Михаил Брашинский. «Кентавры в год дракона». № 6.

Вилнис Бириньш. «Тюрьма — государство в государстве». № 10.

Дайнис Бругис. «Памятник Доротею». № 5.

«Важнейшие события 1939 года». Хроника. № 12.

Ралфс Вулис. Фотографии. № 5.

Андрейс Германис. «Добужинский и Латвия». № 1.

Ежи Гротовский. «Странствование к Театру Истоков». Пер. с польск. Л. Мельниковой. № 7.

Сергей Дауговис. «О времени в фотографии». № 11.

Кристина Дуцмане. «От «керенок» и остмарок до латов». № 5.

«Дэвид Боуи глазами Дэвида Боуи». Книга интервью в пер. Л. Мельниковой. № 9.

Лайма Жихаре. «Нет пророка в своем отечестве». № 7.

Ансис Зунде. «Чем осознается «наша» жизнь?». № 11.

Видудс Ингелевичс. Фотографии. № 8.

Элиас Канетти. «Правитель и власть». № 4.

Гагик Карапетян. «Питер Брук». «Точка отсчета». Интервью. № 2. «Москва — Тбилиси, апрельские уроки». Интервью с Борисом Васильевым. № 8.

Андрейс Кауфманис. «Beardsley... crazy». № 10.

Георгий Кизевальтер. «Существуют ли «Коллективные действия»?». № 11.

Александрс Кирштейнс. «Воспоминания о будущем». № 7.

Айварс Клявис. «Есть только надежда на будущее». № 6.

Михаил Кольцов. «Красный Китеж. Троцкий». № 12.

Рита Лайма Криевиня. «Pepsi Co». № 2.

Андрей Левкин. «Отчет о командировке». № 1. «Почему я не интеллигент?». № 10.

Мераб Мамардашвили. «Если осмелиться быть...». № 11.

Антоний Мархель. «Cassiber» — послание в СССР». № 10.

Генри Миллер. «Эротика в изобразительном искусстве». Пер. Е. Борщовой. № 9.

Нормундс Науманис. «С Новым годом, а пейзаж — все тот же». №№ 3, 4. Памяти Сальвадора Дали. № 5.

Андрис Рубенис. «Любовь — тема для философского размышления». № 9.

Игорь Савостин. «Шпагалки сумасшедшего». №№ 3, 5.

Ольга Свиблова. «О Владимире Янкилевском». № 12.

Александр Солженицын. Речь при получении премии «Золотое клише» Союза итальянских журналистов. № 3.

«Александр Сокуров: индивидуализировать культуру». Интервью. № 3.

Оярс Спаритис. «Блеск имен Курляндских герцогов». № 10.

Майя Табака. «Цыганская ночь». № 12.

Янис Тамужс. «... Так родились мои рисунки». №№ 7—8.

Артем Троицкий. «Rock in the USSR». №№ 1, 3, 4.

Ольга Хрусталева. «Леониду Жуховицкому, который есть, от поколения, которое — нет». № 4.

Анна Хусарска. «Социалистический сюрреализм в Польше». Пер. В. Мазина. № 6.

Юрий Цивьян, Юрий Лотман. «Звук как элемент киноязыка». № 5.

Гунтис Эниньш. «Что скрывают письма?». № 1.

Михаил Эпштейн. «Ленин — Сталин». № 6.

ПУБЛИЦИСТИКА

Глеб Анищенко. «Нужен ли «Нюрнбергский процесс» в Москве?». № 12.

Дасе Балодис, Янис Круминьш. «Биография человека — это и его сексуальная жизнь». № 9.

Андрис Бергманис. «Еще одно «почему». № 3. «Размышляя обо всем, что наше». № 5.

Екатерина Борщова. «Энергия заблуждения». Интервью с профессором Эйдусом. № 8.

Юрис Боярс. «Латвийское золото». № 12.

Петр Вайль, Александр Генис. «Сказки о Германии». №№ 11, 12.

«Вы нам пишете». № 1.

Борис Вышеславцев. «Многообразие свободы в поэзии Пушкина». Предисловие А. Казакова. № 7.

Иварс Годманис. «Задачи НФЛ на пути парламентарной борьбы». № 12.

«Годы независимости в Латвии». № 6.

Алексей Григорьев, Кнутс Скуениекс. «Легко ли быть латышом?». № 1.

Тина Гринберга, Вилнис Зариньш. «Кто мы и куда идем?». № 8.

«Жаркий август 68-го». Подг. К. Мусаэлян.

А. Залкинд. «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата». № 9.

Вилнис Зариньш. «Идейные предшественники национал-социализма в XX веке». № 10. «Философия грабителей». №№ 1, 3, 5.

«Заявление Советского Союза правительству Латвии от 16 июня 1940 года». № 6.

Интервью с Дмитрием Волчком. № 11.

Николай Ильичев. «Размышления о размышлениях». № 3.

Александр Казаков. «Пролетариат и заповеди». № 9.

Рудите Калпина, Янис Веверис. «Теперь, когда истина установлена». № 8.

«Латвия» — магическое слово». Подг. Я. Курсите. № 11.

«Рига: двадцатые — тридцатые годы». № 1.

Оярс Я. Розитис. «Легко ли стать латышом на чужбине?». № 2.

Эва Рубене, Дайна Витола. «... и мечту свою — Латвию». № 2.

Эйн Рэнд. «Природа государства». Пер. Е. Борщовой. № 7.

Михаил Смондырев. «Студенты и генералы». № 4.

Лев Тимофеев. «Я тоже ведь почти роман». № 10.

Петерис Удрис. «Кодекс — языковой или моральный?». № 3.

Юозас Урбшис. «Литва в годы суровых испытаний, 1939—1940». №№ 4—7.

Андрей Фадин. «Бремя величия». № 1.

Семен Франк. «Ересь утопизма». Предисловие и комментарии А. Казакова. № 6.

Михаил Эдидович. «Еврей — минимум? Еврей — максимум!». № 5.



ФОТО АНДРИСА КРИЕВИНЬША

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

